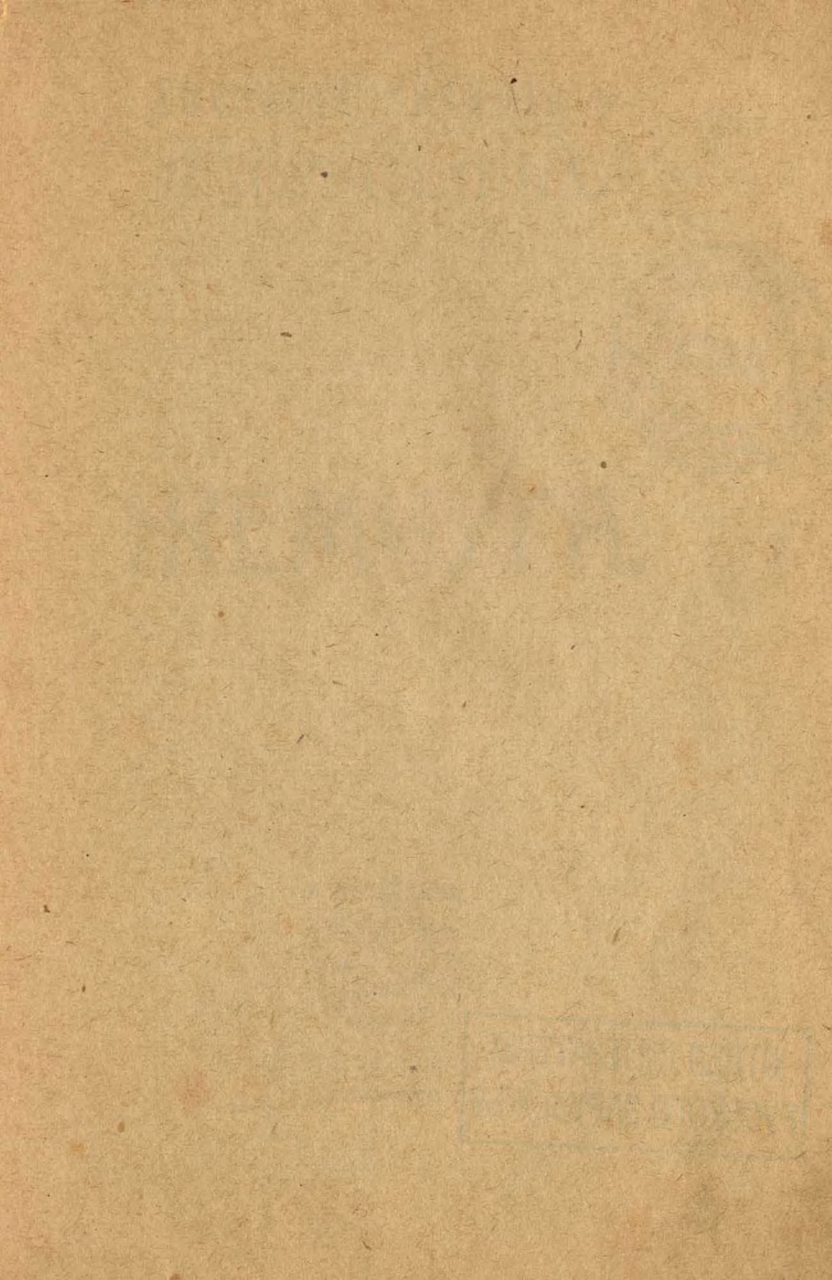
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. ГУМИЛЕВА

ЖЕМЧУГА



СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. ГУМИЛЕВА.



ЖЕМЧУГА.



1363 Rue Lafayette
Shanghai.



Отпечатано в собственной
типографіи изд-ва „ДРАКОН"
J. J. Vassilieff 1363 Rue Lafayette,
Shanghai, China.

Николай Степанович Гумилев, поэт-конквистадор.

Прошло уже двадцать лѣть со дня трагической смерти Гумилева, а матеріалы для его біографіи далеко еще не собраны, личность и творчество его недостаточно освѣщены.

Самыя произведенія его частью разрознены, частью совсѣм неопубликованы.

Поэтому образ поэта представляется все еще неясным и противорѣчивым, а характеристика, даваемая его творчеству различными критиками, поражает произвольностью и случайностью своих оцѣнок.

Придет, конечно, время, когда станут, наконец, достояніем гласности остающіяся до сих пор неизвѣстными произведенія поэта и его письма, хотя бы тѣ, которыя жена Гумилева Анна Ахматова просила его не бросать и не комкать, для того чтобы потомки могли правильно оцѣнить поэта.

Она не допускала мысли, что они не будут знать о Гумилевѣ всѣй правды:

„В біографіи славной твоей
Развѣ можно оставить пробѣлы?“

восклицает поэтесса, давая понять и нам, что заполненіе этих пробѣлов является нешей обязанностью.

А между тѣм, много ли мы о нем знаем?

Даже год рожденія поэта указывают по-разному: одни—1881, другіе—1882.

Учился он в Царскосельской Николаевской гимназіи. Дѣтство и раннюю юность провел в Царском селѣ и Петербургѣ, в той специфической атмосферѣ, которая породила русскій модернизм.

По свидѣтельству одного из современников и однокашников поэта, будучи гимназистом, „Гумилев отличался от своих товарищей опредѣленными литературными симпатіями, писал стихи, много читал.“

Тот же свидѣтель прибавляет, что в остальном Гумилев „поддерживал славныя традиціи лихих гимназистов“: франтил, носил усики, усердно ухаживал за барышнями.

„Живо себѣ представляю, говорит он, Гумилева, стоящаго у подъѣзда Маріинской женской гимназіи, откуда гурьбой выбѣгают в половинѣ третьяго розовощекія хохотушки, и „напѣвающаго“ своим особенным голосом: „Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем“...

Кажется среди этих хохотушек была и Аня Горенко, впослѣдствіи его жена—Анна Ахматова.

По окончаніи гимназіи Гумилев учился в Парижѣ, в модной тогда среди русских парижан

Сорбоннѣ, гдѣ между прочим преподавали и русскіе профессора, считавшіеся „изгнанниками".

Впрочем занимался он, по собственному признанію, неособенно усердно. Однако Париж сыграл большую роль в его развитіи, оказав особое вліяніе на выработку его вкуса.

К этой именно эпохѣ относится начало его увлеченія французской поэзіей—сначала Бодлэром и декадентами вообще, потом Теофилем Готье и парнасцами.

По пріѣздѣ в Россію, куда Гумилев вернулся, по выраженію Э. Голлербаха, „раффинированным эстэтом", поэт отдал дань, как и многіе тогда в Россіи, увлеченію Бальмонтом, как в творчествѣ, так и в жизни (кажется, не было у него знакомой барышни, которой бы он не сообщал о своем желаніи „быть дерзким и смѣлым, из пышных гроздій вѣнки свивать", говорит о нем все тот же Голлербах).

Первый сборник его стихотвореній, теперь совершенно забытый и в то время почти никѣм не замѣченный, „Пути Конквистадоров", появился в 1905 г.

Немного позднѣе выходит в свѣт второй сборник „Романтическіе цвѣты", „насквозь эклектическая книга, гдѣ на малом пространствѣ нѣскольких десятков страниц сгрудились античность и экзотика, римскія галеры и каравеллы Кортеца, сновало многоголосое и многоцвѣтное, как в Левантинском порту, населеніе образов, гдѣ русскій ямб то уподоблялся патетическому и взбудораженному александрійцу Виктора Гюго, то кованному, насыщенному, как афоризм,

стиху Эродіа, то легкой и крѣпкой восьмисложной строфѣ Теофиля Готье." (А. Левинсон).

„Гумилев показался мнѣ тогда французским поэтом на русском языкѣ", замѣчает критик.

Ясно, что Гумилев тогда учился разнообразію ритмов, выковывая свой замѣчательный стих, подготовляясь к позднѣйшим выступленіям во всеоружіи великолѣпной техники „акмеизма".

В 1907 году Гумилев пытался издавать литературный журнал „Сиріус", но из этого предпріятія так ничего и не получилось.

В качествѣ сотрудницы этого журнала привлекалась между прочим и знакомая Гумилеву барышня, писавшая стихи, Анна Горенко, впервые кажется начавшая подписываться как раз в то время псевдонимом Анна Ахматова.

Сохранилось относящееся к этой эпохѣ ея письмо, адресованное одному из друзей. В нем она пищет:

„Зачѣм Гумилев взялся за „Сиріус„? Это меня удивляет и приводит в нообычайно веселое настроеніе. Сколько несчастіев наш Микола перенес и все понапрасну!

Вы замѣтили, что сотрудники почти всѣ так же извѣстны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затменіе от Господа. Бывает".

Письмо это любопытно в том отношеніи, что из него видно, с какой ироніей знаменитая в будущем поэтесса относилась в то время к себѣ. Интересно также упоминаніе о „несчастіях"

Гумилева, который слыл неудачником и часто подвергался насмѣшкам, которыя, однако, мало его смущали: он шел своей дорогой, которая, повидимому, и тогда была уже опредѣленно намѣчена.

По свидѣтельству знавших его, его и тогда влекло к себѣ все необычное, неизвѣданное. Он искал острых переживанiй, сильных ощущенiй.

Он пробовал наркотики, опасная игра с любовью и со смертью приводила его к попыткам самоубiйства. (Вспомним слова Леонида Андреева, который говорил Горькому: „Человѣк ,который не пробовал убить себя, дешево стоит").

То же неспокойное стремленiе к новизнѣ и остротѣ впечатлѣнiй увлекло его в Африку, гдѣ он находил усладу в опасностях охоты на львов и носорогов.

Его привлекала борьба во всѣх ея видах, и вот он и на искусство стал смотрѣть, как на боренiе, на преодолѣнiе трудностей, стоящих на пути поэта-мастера стиха.

Уже в „Жемчугах", сборникѣ стихотворенiй, появившемся в 1910 году, нѣкоторыя из стихотворенiй являются подлинными шедеврами.

Немало таких стихотворенiй и в слѣдующем сборникѣ—„Чужое небо" (1911 г.).

В это время создается и знаменитый акмеизм, литературное теченiе, с которым тѣсно связано имя Гумилева и о котором подробнѣе будет сказано дальше.

Образуется по мысли Гумилева также лите-

ратурное содружество Цех поэтов (первый) в 1911 г.*).

Журнал „Гиперборей“ и издательство того же названія явились органами молодого литературнаго содружества, в котором лидерство неизмѣнно принадлежало Гумилеву и отчасти Городецкому, который время от времени выступал в печати с разъясненіем программы кружка.

Идеи Гумилева особенно получили распространеніе с того времени, когда он сдѣлался сотрудником „Аполлона“, журнала, ставившаго своей цѣлью пропаганду чистаго искусства.

Здѣсь появились многіе из стихотвореній Гумилева, впослѣдствіи вошедшія в его сборники, а также цѣлый ряд его замѣчательных статей об искусствѣ, изданных отдѣльной книжкой („Письма о русской поэзіи“. Петроград, 1923 г.) уже послѣ его смерти.

Общій характер поэзіи Гумилева и все его міровоззрѣніе опредѣлилось к тридцати годам его жизни.

---

*) В началѣ многочисленный и пестрый по составу, Цех ставил своей задачей объединеніе поэтов разных направленій и работу их над усовершенствованіем стиха.

В теченіе полугода работы Цеха в нем ясно опредѣлилась группа поэтов, направленіе которой явилось реакціей против „Академіи“ Вячеслава Иванова. Слово „символизм“ потеряло для этой группы свое прежнее обаяніе, послышались разговоры о „честности в поэзіи“ и о „линіи наибольшаго сопротивленія“.

Ядро „Цеха“ — акмеисты и примыкавшіе к ним. (Из предисловія к „Цеху поэтов“, издан. С. Ефрон, Берлин 1922 г.)

Это был поэт-конквистадор, открыватель невѣдомых стран духа, апостол волевой напряженности, жаждущій подвига благородный рыцарь.

Когда началась война, он пошел на фронт добровольцем-вольноопредѣляющимся и, будучи зачислен в Петергофскіе уланы, участвовал в столь трагическом для нас походѣ в Восточную Пруссію.

„Войну он принял, по свидѣтельству одного из современников, с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, один из тѣх немногих в Россіи людей, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности."

Памятником настроеній, которыми поэт тогда был проникнут, является его сборник „Колчан" в котором прославляется подвиг, подчиняющій нашу „ничего не понимающую" животную природу требованіям духа (См. стихот. „Солнце духа" и др.).

Когда произошла революція, Гумилев уѣхал во Францію, гдѣ нѣкоторое время был ординарцем при военном комиссарѣ Временнаго Правительства, в чинѣ корнета Александрійскаго гусарскаго полка.

Но тут его потянуло на родину, и он вернулся в Россію как раз послѣ Октябрьскаго переворота, пробравшись через Англію сначала в Архангельск, потом в Петербург.

В то время всѣ оставшіеся в Россіи писатели, профессора и вообще всѣ интеллигентные люди, особенно в столицах, должны были, как извѣ-

стно, отбывать „трудовую повинность“ по своей спеціальности.

Гумилев работал в издательствѣ „Всемірная Литература“.

Вмѣстѣ с другими писателями он переводил для этого изданія западно-европейских классиков, писал статьи и рецензіи на книги и часто выступал в Студіи Всемірной Литературы, основанной им в 1918 г. совмѣстно с Чуковским и Лозинским, в качествѣ лектора.

„Это был, по выраженію одного из его коллег по этой работѣ Андрея Левинсона, „безнадежный и парадоксальный труд—труд насажденія духовной западной культуры на развалинах русской жизни“.

Согласно по-истинѣ „планетарному“ плану Совѣтской власти, писатели должны были знакомить „массы“ с высочайшими достиженіями западно-европейской культуры,—Шекспир, Гете, Шиллер, Флобер должны были быть „растолкованы“ рабочим и крестьянам во что бы то ни стало.

Это был своего рода культурный блицкриг, из котораго, конечно, ничего не получилось.

„Я смог оцѣнить тогда, пишет Левинсон, обширность знаній Гумилева в области европейской поэзіи, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особенно его педагогическій дар“.

Лекціи Гумилева пользовались большим успѣхом.

Основной его кафедрой была Студія всемірной литературы. Но он выступал также в Домѣ

искусств, в Институтѣ исторіи искусств и др. учрежденіях.

Аудиторія его была очень пестрой: его приглашали в „Балтфлот“, в „Пролеткульт“, в „Союз молодежи“ и т. п. организаціи.

И он шел, куда его звали, дѣлая свое дѣло, почти не касаясь политики, так как „навсегда, с негодаваніем и брезгливостью отвергнутый им режим как бы не существовал для него“.

Когда же ему все таки приходилось выявлять свое отношеніе к достиженіям новой эпохи, то свое осужденіе пролетарской культурѣ этот „желѣлный человѣк“, как называли мы его в шутку, высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патріотическое исповѣданіе“ (А. Левинсон).

Это был період, когда не только в Петербургѣ, но и по всей Россіи шла эпидемія лекцій и особенно по искусству и литературѣ.

„Лекторы в шубѣ и валенках читали в нетопленных помѣщеніях, наполненных промерзшими и жадными до Леконт-де-Лилля людьми“, иронизирует поэт Н. Оцуп, которому тоже приходилось выступать в качествѣ лектора в тѣ времена в Петербургѣ.

„Освѣжало лекціи и бесѣды то, что на людей, из которых большинство ничего не слышало о Тютчевѣ и Баратынском и очень мало о Лермонтовѣ, вдруг сваливаются Анненскій и Теофиль Готье“, резюмирует он свои тогдашнія впечатлѣнія.

В эту послѣднюю, краткую, но очень пло.

дотворную эпоху своей жизни Гумилев отдается особенно напряженной творческой работѣ..

Помимо многочисленных переводов для „Всемірной Литературы", гдѣ он вмѣстѣ с Блоком редактировал отдѣл стихотвореній, он написал тогда так и оставшуюся, по-видимому, не напечатанной пьесу из византійской жизни „Отравленная туника", пьесу из жизни первобытных людей „Охота на носорога", поэму „Дракон", пьесу „Дитя Аллаха", работал над пьесой „Завоеваніе Мексики", из которой сохранились только отрывки.

Кромѣ того он подготовлял к печати сборник стихотвореній под заглавіем „Посрединѣ странствія земного".

Чѣм зрѣлѣе становился талант Гумилева, тѣм совершеннѣе дѣлались его произведенія, тѣм полнѣе раскрывалась в них его внутренняя жизнь.

Неразъясненной остается до сих пор его семейная драма.

Одно несомнѣнно: была надрывность в отношеніях Гумилева и Анны Ахматовой, но отношенія эти были небанальны и обвѣяны трагической красотой.

Стихи обоих поэтов, как вспышки молній, освѣщают порой исторію трагической борьбы двух влекущихся друг к другу и в то же время отталкивающихся существ: вѣчно-мужественнаго мужчины и вѣчно-женственной женщины.

Но этих вспышек недостаточно, чтобы „потомки" могли „разсудить" поэтов-супругов.

Агитировал среди рабочих во время Кронштадскаго возстанія, составлял прокламаціи, хранил оружіе. По-видимому, в связи с этим дѣлом он ѣздил на юг, послѣ чего был арестован.

Из тюрьмы он писал Ахматовой, которая уже на была его женою:

„Не безпокойся обо мнѣ: я чувствую себя прекрасно, читаю Гомера и пишу стихи".

Между тѣм, он знал, что все уже кончено.

24 августа 1921 г. он был разстрѣлян по постановленію петербургской Чрезвычайки вмѣстѣ с другими участниками заговора.

Умер он спокойно и безстрашно, потому что, как поэт и мудрец, хорошо знал, что

Есть Бог, есть мір — они живут вовѣк,
А жизнь людей мгновенна и убога.

Полная оцѣнка Гумилева будет сдѣлана только тогда, когда весь матерьал о нем и всѣ его произведенія будут наконец собраны.

В настоящее же время можно лишь пробовать указать наиболѣе существенныя черты его творчества и тѣ особенности его дарованія, которыя дѣлают его одним из оригинальнѣйших представителей русской поэзіи.

Прежде всего в Гумилевѣ надо различать как бы двѣ ипостаси: теоретика поэзіи, создателя школы акмеизма, и поэта-мастера, творца замѣчательных литературных произведеній.

Теоретиков поэзіи было, конечно, много и до него, но он, по выраженію одного критика, один из первых у нас рѣшил „укрѣпить дерзновеніе и слѣпое наитіе необходимым стержнем

учебы" и пытался создать методологію поэзіи.

Можно по разному относиться к самой идеѣ Гумилева подчинить поэзію извѣстной дисциплинѣ, свести ее чуть не в научную систему, но нельзя отрицать ея большой оригинальности и замѣчательной продуманности.

Вліяніе этой системы на современных Гумилеву поэтов было тѣм значительнѣе, что создав свою поэтику и возвѣстив о новых возможностях для русских стихотворцев, Гумилев дал поистинѣ блестящіе образцы „акмеистской" поэзіи, поражающіе силой, чеканкой и красотой.

Что же такое акмеизм?

Лучше всего на этот вопрос отвѣтил сам Гумилев, посвятившій разъясненію своего ученія цѣлый ряд статей в „Аполлонѣ" и других изданіях, а также в лекціях и частных бесѣдах.

Самое названіе основаннаго им теченія он производит от древне—греческаго слова акмэ, что значит остріе, лезвіе.

Этим он сразу устанавливает необычайно высокій стандарт для своего искусства, предъявляет неслыханныя требованія поэту, так как под остротой лезвія он разумѣет не что иное, как совершенство.

Итак, всякое настоящее поэтическое произведеніе должно быть совершенным.

Но достижимо ли это?

Гумилев отвѣчает: „Да, достижимо".

Только для того чтобы достичь акмэ, поэт должен стать героем. Он должен пойти по линіи наибольшаго сопротивленія.

В статьѣ „Анатомія стихотворенія" Гуми-

лев настаивает на выполненіи цѣлаго ряда правил, которыя обезпечивают всякому поэтическому произведенію право называться этим именем.

Поэтическое произведеніе должно удовлетворять требованіям фонетики стилистики, композиции и эйдолологіи.

„Фонетика изслѣдует звуковую сторону стиха, ритмы, т. е. смѣну повышеній и пониженій голоса; инструментовку, т. е. качество и связь между собою различных звуков, науку об окончаніях и науку о рифмѣ с ея звуковой стороны.

„Стилистика разсматривает впечатлѣніе, производимое словом в зависимости от его происхожденія, возраста, принадлежности к той или иной грамматической категоріи, мѣста во фразѣ, а также группой слов, составляющих как бы одно цѣлое, напримѣр, сравненіем, метафорой и пр.

„Композиція имѣет дѣло с единицами идейнаго порядка и изучает интенсивность и смѣну мыслей, чувств и образов, вложенных в стихотвореніе.

„Эйдологія подводит итог темам поэзіи и возможным отношеніям к этим темам поэта".

„Каждый из этих отдѣлов незамѣтно переходит в другой, а эйдолологія неносредственно примыкает к поэтической психологіи. Разграничительных линій провести нельзя, да и не надо,

„В дѣйствительно великих произведеніях поэзіи четырем частям удѣлено равное вниманіе, онѣ взаимно дополняют одна другую. Таковы поэмы Гомера, такова Божествввнная Комедія.

„Крупныя поэтическія направленія обыкновенно устремляют особое вниманіе на два какіе-нибудь отдѣла, объединяя их между собой и оставляя в тѣни два других. Меньшія выдѣляют лишь один отдѣл, иногда даже один какой-нибудь пріем, входящій в его состав.

„Укажу кстати, что возникшій в послѣдніе годы акмеизм выставляет основным требованіем равномѣрное вниманіе ко всѣм четырем отдѣлам".

„Гумилев был по природѣ церковником, ортодоксом поэзіи, как был он и христіанином православным, говорит о нашем поэтѣ А. Левинсон, хорошо знавшій Гумилева в послѣдніе годы его жизни. Не мистическій опыт, а откровеніе поэзіи в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметріи чисел, мѣрѣ. Помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедію метафор, гдѣ мифы всѣх племен сосѣдствовали с исторической легендой".

Тот же Левинсон, сообщая о выступленіях Гумилева в студіи „Всемірной литературы" в 1918 — 20 гг., говорит: „Здѣсь он отчеканивал правила своей поэтики, которым охотно придавал форму „заповѣдей": был убѣжден в непререкаемости основ, им провозглашенных".

Однако, подчеркивая необходимость для поэта соблюденія всѣх правил поэтики, Гумилев отлично, конечно, понимал, что никакими правилами нельзя создать поэта, что поэтом надо родиться, и он придавал громадное значеніе той нопосредственности и свѣжести воспріятія,

которыя характеризуют всякаго истиннаго поэта.

Поэт, по его мнѣнію, должен смотрѣть на мір такими глазами, точно он видит этот мір впервые, — и тот не поэт, кто употребляет омертвѣлые образы, почерпнутые не из непосредственнаго воспріятія, но подсказанныя памятью:

Лишь дѣвственныя наименованья
Поэтам разрѣшаются отсель!

Свѣжесть воспріятія, умѣнье глядѣть на вещи новыми глазами—признак истинной оригинальности, которая одна только и цѣнна, ибо поэзія есть прежде всего выраженіе личнаго начала, которое тѣм цѣннѣе, чѣм самобытнѣе.

Но самобытное должно быть отлито в прекрасную форму, и созданіе поэта должно быть безукоризненным во всѣх отношеніях, „безукоризненным до неправильности".

Да, правила необходимы, без них невозможно достичь совершенства, но для того чтобы держаться на высотѣ, нужно неуклонно идти по линіи наибольшаго сопративнленія, не боясь никаких опасностей, не отступая, в случаѣ надобности, и перед измѣной правилам.

Главное—напряженность, творческое усиліе, акмэ.

Поэтому и влекло его, в поэзіи, так же, как в жизни, все необычное, трудное, героическое.

Страсть Гумилева к приключеніям и подвигу отмѣчают многіе собиратели біографических свѣдѣній о нем. Но всѣ они по разному объясняют эту особенность характера поэта.

Так, Эрих Голлербах истолковывает эту „причуду“ Гумилева слѣдующим образом:

„Многiе, говорит он, зачитываются в дѣтствѣ Майнъ—Ридом, Жюлем Верном, Густавом Эмаром, но почти никто не осуществляет впослѣдствiи, в своей „взрослой“ жизни, гороическаго авантюризма, толкающаго на опасныя затѣи, далекiя экспедицiи.

„Он осуществил. Упрекали его в позерствѣ, в чудачествѣ. А ему просто всю жизнь было шестнадцадь лѣт. Любовь, смерть и стихи. В щестнадцать лѣт мы знаем, что это прекраснѣе всего на свѣтѣ. Потомъ—забываем: дѣла, дѣлишки, мелочи повседневной жизни убивают романтическiя „фантазiи“. Забываем. Но он не забывал. Не забывал всю жизнь“.

Ту же черту по-иному освѣщает Минскiй.

„Он подносил читателю только конкретное, подлинное, лично пережитое.

„Отсюда жизненность его вдохновенiй, отсутствiе в них всякой книжности. Отсюда же активное отношенiе его к жизни. В стихи у него выливается только избыток переживанiй.

„Он сперва жил, а потом писал.

„А жить значило для наго—мужественно преодолѣвать опасности,—в путешествiях, на охотѣ...

„Войнѣ он обрадовался чрезвычайно, как исходу для обуревавших его сил“.

Однако же Минскiй отмѣчает, что, встрѣчая Гумилева в Парижѣ уже послѣ войны, он нѣсколько раз заставал его углубленным в чте-

ніе... Майн Рида.

Нѣсколько парадоксальное объясненіе „авантюризму“ Гумилева дает один из его друзей, поэт Георгій Иванов в предисловіи к сборнику гумилевских стихотвореній „Чужое небо“:

„Зачѣм он ѣздил в Африку, шел добровольцем на войну, участвовал в заговорѣ, крестился широким демонстративным крестом перед всѣми церквами совѣтскаго Петербурга, заявил в лицо слѣдователю о своем монархизмѣ, вмѣсто того, что бы попытаться оправдаться и спастись? — спрашивает Иранов.

„Люди близкіе к нему знают, что ничего воинственнаго, авантюристическаго в натурѣ Гумилева не было. В Африкѣ ему было жарко и скучно, на войнѣ мучительно мерзко, в пользу заговора из-за котораго он погиб,—он вѣрил очень мало.

„Все это он воспринимал совершенно так же, как воспринимает любой русскій „чеховскій“ интеллигент.

„Он по настоящему любил и интересовался только одной вещью на свѣтѣ — поэзіей. Но он твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человѣческом дѣлѣ будет всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человѣческія слабости—эгоизм, ничтожество, страх смерти—будет на собственном примѣрѣ каждый день преодолѣвать в себѣ „ветхаго Адама“

„И от природы робкій, тихій, болѣзненный,

книжный человѣк, он приказал себѣ быть охотником на львов, солдатом, награжденным двумя Георгiями, заговорщиком, рискующим жизнью за возстановленiе монархiи.

„И то же, что со своей жизнью, он продѣлал со своею поэзiей. Мечтательный, грустный лирик,—он сломал свой лиризм, сорвал свой неособенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзiи ея прежнее величiе и влiянiе на души, быть звенящим кинжалом, „жечь сердца людей“.

Нам представляется, что нѣт никакой надобности представлять Гумилева ни шестнадцатилѣтним мальчиком, начитавшимся авантюрных романов, ни каким-то русским Тартареном из Тараскона, вообразившим себя героем.

Если Г. Иванов на основанiи своего близкаго знакомства с поэтом позволяет себѣ утверждать, что в натурѣ Гумилева не было „ничего воинственнаго“, что он был „робким и тихим“, то мы в правѣ этому и не повѣрить, так как подобному утвержденiю противорѣчат как свидѣльства других знавших Гумилева лиц, так и факты его жизни, а, главное—вся поэзiя Гумилева, которую не мог же он „выдумать“ в концѣ концов.

Думается, что Анна Ахматова знала своего мужа во всяком случаѣ не хуже, чѣм Георгiй Иванов, а она называет Гумилева мудрым и смѣлым, а жизнь поэта называет славной.

Знакомство с фактами этой жизни рѣшительно отнимает у нас возможность сомнѣваться в искренности его увлеченiя экзотикой, в его

любви к приключеніям, в его влеченіи к подвигу.

И развѣ его энтузіазм не засвидѣтельствован в его по-истинѣ патетических стихотвореніях, неподражаемая прелесть которых является лучшим доказательством подлинности переживаемых автором чувств и настроеній?

Наконец, если и можно с натяжной допустить, что „он приказал себѣ быть охотником на львов", то мы рѣшительно не имѣем никакого права сомнѣваться в его патріотизмѣ или считать, что ему нравилось изображать заговорщика: как бы актер ни увлекался, но, если его поведут на разстрѣл, едва ли он станет доигривать свою роль до конца.

А про Гумилева сам же Г. Иванов разсказывает, что он „по свидѣтельству чекистов, пошел на разстрѣл улыбаясь и умер, не дрогнув, как герой".

Нельзя также согласиться и с тѣм, что Гумилев сломал свой лиризм и сорвал свой „неособенно сильный" голос... желая вернуть поэзіи ея прежнее величіе и вліяніе на души".

Что у него было желаніе вернуть поэзіи прежнее ея значеніе это неоспоримо, но что он сорвал свой голос, это невѣрно.

И многіе готовы согласиться с тѣм, что Гумилев был первоклассным мастером стиха, но отказываются признать его большим поэтом.

Видят в нем какого-то русскаго „парнасца". Настаивают на его безстрастности.

При этом отождествляют безстрастность с холодностью, совершенно не учитывая того, что

Гумилев в понятіе безстрастности вкладывал свой особый смысл.

Забывают, что под безстрастностью поэт подразумѣвал то особое состояніе полнаго душевнаго покоя, о котором много говорил в свое время и Пушкин, считавшій, что без него никакое творчество невозможно.

С этой оговоркой и мы готовы согласиться, что Гумилев требовал от поэта, чтобы он был безстрастен.

Вспомнил его чудесный перевод из „Эмалей и Камей", стихотвореніе, которое без всякой натяжки можно считать вполнѣ выражающим его взгляд на искусство:

Искусство тѣм прекраснѣй,
Чѣм взятый матерьал
Безстрастнѣй:
Стих, мрамор иль металл...
Все — прах! Одно, ликуя,
Искусство не умрет:
Статуя
Переживет народ.
И на простой медали,
Найденной средь камней,
Видали
Невѣдомых царей.
И сами боги тлѣнны,
Но стих не кончит пѣть,
Надменный,
Властительнѣй, чѣм мѣдь,
Работать, гнуть, бороться,
И легкій сон мечты
Вольется

В нетлѣнныя черты...

Вот эту-то особую безстрастность художника, не желающаго уподобляться „суетным“ и „ничтожным дѣтям міра“, многіе и принимают у Гумилева за холодность.

Способствовало такому неправильному пониманію поэта еще и то обстоятельство, что муза его необычайно мужественна.

Эту мужественность своей поэзіи Гумилев отмѣчает и сам в своем извѣстном стихотвореніи „Мои читатели“, в котором он объясняет, почему его стихотворенія нравятся таким лицам, как „старый бродяга в Адис-Абебѣ, покорившій многія племена; лейтенант, водившій канонерки под огнем непріятельских батарей; человѣк, среди толпы народа застрѣлившій императорскаго посла“ и им подобные.

Оказывается, что поэт пришелся им по вкусу благодаря слѣдующим особенностям своей поэзіи:

Я не оскорбляю их неврастеніей,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоѣдаю многозначительными намеками
На содержимое выѣденнаго яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и дѣлать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас—
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.

Вот это-то мужественное спокойствіе, эту силу духа и принимали многіе у Гумилева за холодность.

Может быть тут умѣстно будет привести тот „небольшой", но очень характерный эпизод из его собственной жизни, который разсказала Ахматова, эпизод, показывающій, что он умѣл и сам поступать так, как учил.

Как забуду? Он вышел шатаясь;
Искривился мучительно рот...
Я сбѣжала, перил не касаясь,
И бѣжала за ним до ворот...
Задыхаясь, я крикнула: „Шутка
Все, что было, уйдешь — я умру".
Улыбнулся спкойно и жутко
И сказал мнѣ: „Не стой на вѣтру!"

Так он, мужественный и „спокойный" реагировал на самое страшное в его жизни, Остальное вѣдь все было менѣе страшно: и война и революція и разстрѣл.

Итак мужественность вот основной тон его поэзіи.

По содержанію же поэзія эта была не чѣм иным, как романтикой.

Перечитайте его сборники. Дѣйствительность для него только „сон бытія", и хоть он „возлюбил" этот сон, хоть он охотно упивается красками и звуками видимаго міра, однако живет он преимущественно и предпочительно в другой дѣйствительности, которую называет „внѣміровой".

И совсѣм не в мірѣ мы, а гдѣ-то
На задворках міра мы живем,

Констатирует поэт в одном из самых типичных для него стихотвореній.

Задворками міра он именует, конечно, этот наш видимый мір, о котором в том же стихотвореніи сообщает:

Так пыльна здѣсь каждая дорога,
Каждый куст так хочет быть сухим,
Что не приведет единорога
Под уздцы к нам бѣлый серафим.

Единорог у Гумилева—символ чудеснаго, необычнаго и серафимы, как извѣстно, один из любимых его образов-намеков на „нездѣшнее".

И сам он подчас считал себя „одержимым", „одиноким", творцом никому не нужных пѣсен.

Он знает, что ему есть, что преддложить людям; знает, как богата „его земля":

Она полна конями быстрыми
И красным золотом пещер,
И ночью вспыхивают искрами
Глаза блуждающих пантер.

Желая подѣлиться с людьми своими богатствами, поэт „высоко воздвиг маяк", чтоб „пробѣгающіе на морѣ" могли издали видѣть это.

Но люди не желают его даров:

Я предлагал им перья страуса,
Плоды, коралловую нить,
Но ни один стремленья паруса
Не захотѣл остановить.

Это, однако не обезкураживает поэта, и мы видим, что он, несмотря на непониманіе и нежеланіе понять его, продолжает итти намѣченной дорогой и предлагает вслѣд за „Жемчугами"

стрѣлы своего „Колчана“ и пылающіе угли своего „Костра“.

Постепенно он дѣлается все „ироничнѣе и суше“, и, не питая особой симпатіи к „жизни современной“, сохраняет с ней только вѣжливое отношеніе.

Однако чѣм дальше, тѣм больше он начинает „злиться“ на окружающих людей, чувствуя себя среди них,

Как идол металлическій
Среди фарфоровых игрушек.

Он все яснѣе чувствует, что он им „не пара“, что он „пришел из другой страны“.

Это психологія Лермонтова в Пятигорской обстановкѣ, и не удивительно, что она приводит Гумилева к такому же концу.

І. Пуцято.

Наслѣдіе символизма и акмеизм.

Для внимательнаго читателя ясно, что символизм закончил свой круг развитія и теперь падает. И то, что символическія произведенія уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабыя даже с точки зрѣнія символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно безспорных цѣнностей и репутацій, и то, что появились футуристы, эго-футуристы и прочія гіены, всегда слѣдующія за львом? На смѣну символизма идет новое направленіе, как бы оно ни назвалось, акмеизм ли (от слова акмэ — высшая степень чего либо, цвѣт, цвѣтущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случаѣ требующее большого равновѣсія сил и болѣе точнаго знанія отношеній между субъектом и объектом, чѣм то было в символизмѣ. Однако, чтобы это теченіе утвердило себя во всей полнотѣ и явилось достойным преемником предшествующаго, надо чтобы оно приняло его наслѣдство и отвѣтило на всѣ поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом.

Французскій символизм, родоначальник всего символизма, как школы, выдвинул на передній план чисто литературныя задачи: свободный стих, болѣе своеобразный и зыбкій слог, метафору, вознесенную превыше всего, и пресловутую „теорію соотвѣтствій". Послѣднее — выдает с головой его не романскую и слѣдовательно не національную, наносную почву. Романскій дух слишком любит стихію свѣта, раздѣляющаго предметы, четко вырисовывающаго линію; эта же символическая сліянность всѣх образов и вещей, измѣнчивость их облика, могла родиться только в туманной мглѣ германских лѣсов. Мистик сказал бы, что символизм во Франціи был прямым послѣдствіем Седана. Но на ряду с этим он вскрыл во французской литературѣ аристократическую жажду рѣдкаго и трудно-достижимаго и таким образом спас ее от угрожавшаго ей вульгарнаго натурализма.

Мы, русскіе, не можем не считаться с французским символизмом, хотя бы уже потому, что новое теченіе, о котором я говорил выше, отдает рѣшительное предпочтеніе романскому духу перед германским. Подобно тому, как французы искали новый болѣе свободный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов, болѣе чѣм когда либо вольной перестановкой удареній, и уже есть стихотворенія, написанныя по вновь продуманной силлабической системѣ стихосложенія. Головокружительность символических метафор пріучила их к смѣлым поворотам мысли; зыбкость слов, к которым они прислушались, побудила искать в живой

народной рѣчи новых — с болѣе устойчивым содержаніем; и свѣтлая иронія, не подрывающая корней нашей вѣры, иронія, которая не могла не проявляться хоть изрѣдка у романских писателей, стала теперь на мѣсто той безнадежной нѣмецкой серьезности, которую так возлелѣяли наши символисты. Наконец, высоко цѣня символистов за то, что они указали нам на значеніе в искуствѣ символа, мы не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтическаго воздѣйствія и ищем их полной согласованности. Этим мы отвѣчаем на вопрос о сравнительной „прекрасной трудности" двух теченій: акмеистом труднѣе быть чѣм символистом, как труднѣе построить собор, чѣм башню. А один из принципов новаго направленія — всегда идти по линіи наибольшаго сопротивленія.

Германскій символизм в лицѣ своих родоначальников Ницше и Ибсена видвигал вопрос о роли человѣка в мірозданіи, индивидуума в обществѣ и разрѣшал его, находя какую нибудь объективную цѣль или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось, что германскій символизм не чувствует самоцѣнности каждаго явленія, не нуждающейся ни в каком оправданіи извнѣ. Для нас іерархія в мірѣ явленій— только удѣльный вѣс каждаго из них, причем вѣс ничтожнѣйшаго всетаки несоизмѣримо больше отсутствія вѣса, небытія, и поэтому перед лицом небытія—всѣ явленія братья.

Мы не рѣшились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природѣ. Но, ощущая себя явленіями среди явленій, мы ста-

новимся причастны міровому ритму, принимаем всѣ воздѣйствія на нас и в свою очередь воздѣйствуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедія—ежечасно угадывать то, чѣм будет слѣдующій час для нас, для нашего дѣла, для всего міра, и торопить его приближеніе. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего вниманія, грезится нам образ послѣдняго часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условій бытія здѣсь, гдѣ есть смерть, так же странно, как узнику ломать стѣну, когда перед ним—открытая дверь. Здѣсь этика становится эстетикой, расширяясь до области послѣдней. Здѣсь индивидуализм в высшем своем напряженіи творит общественность. Здѣсь Бог становится Богом Живым, потому что человѣк почувствовал себя достойным такого Бога. Здѣсь смерть—занавѣс, отдѣляющій нас, актеров, от зрителей, и во вдохновеніи игры мы презираем трусливое заглядываніе—что же будет дальше?

Как адамисты, мы немного лѣсные звѣри и во всяком случаѣ не отдадим того, что в нас есть звѣринаго в обмѣн на неврастенію. Но тут время говорить русскому символизму.

Русскій символизм направил свои главныя силы в область невѣдомаго. Поперемѣнно он братался то с мистикой, то с теософіей, то с окультизмом. Нѣкоторыя его исканія в этом направленіи почти приближались к созданію мифа. И он вправѣ спросить идущее ему на смѣну теченіе, только ли звѣриными добродѣтелями оно может похвастать и какое у

него отношеніе к непознаваемому. Первое, что на такой допрос может отвѣтить акмеизм, будет указаніем на то, что непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать. Второе— что всѣ попытки в этом направленіи — нецѣломудренны. Вся красота, все священное значеніе звѣзд в том, что онѣ безконечно далеки от земли и ни с какими успѣхами авіаціи не станут ближе. Бѣдность воображенія обнаружит тот, кто эволюцію личности будет представлять себѣ всегда в условіях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наши прежнія существованія (если это не явно литературный пріем), когда мы были в безднѣ, гдѣ миріады иных возможностей бытія, о которых мы ничего не знаем, кромѣ того, что онѣ существуют? Вѣдь каждая из них отрицается нашим бытіем и в свою очередь отрицает его. Дѣтски-мудрое, до боли сладкое ощущеніе собственнаго незнанія, вот то, что нам дает невѣдомое. Франсуа Виллон, спрашивая, гдѣ теперь прекраснѣйшія дамы древности, отвѣчает сам себѣ горестным восклицаніем:

...„Mais oû sont les neiges d'antan!'

И это сильнѣе дает нам почувствовать нездѣшнее, чѣм цѣлые томы разсужденій, на какой сторонѣ луны находятся души усопших... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем болѣе или менѣе вѣроятными догадками — вот принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя

право изображать душу в тѣ моменты, когда она дрожит приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться. Разимѣется, познаніе Бога, прекрасная дама Теологія, останется на своем престолѣ, но ни ея низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ея алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихійных и прочих духов, то они входят в состав матеріала художника и не должны больше земной тяжестью перевѣшивать другіе взятые им образы.

Всякое направленіе испытывает влюбленность к тѣм или иным творцам и эпохам. Дорогія могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для зданія акмеизма, высокое напряженіе той или иной его стихіи. Шекспир показал нам внутренній мір человѣка, Рабле — тѣло и его радости, мудрую физіологичность. Виллон повѣдал нам о жизни, нимало не сомнѣвающейся в самой себѣ, хотя знающей все, и Бога, и порок и смерть, и безсмертіе; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусствѣ достойныя одежды безупречных форм. Соединить в себѣ эти четыре момента — вот та мечта, которая обединяеъ сейчас между собой людей, так смѣло назвавших себя акмеистами.

Н. Гумилев.

ЖЕМЧУГА

*Посвящается моему учителю
Валерію Брюсову.*

ЖЕМЧУГ ЧЕРНЫЙ

Qu'ils seront doux les pieds de
celui qui viendra.
Pour m'annoncer la mort? . .

Alfred de Vigny.

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА.

Милый мальчик, ты так весел, так свѣтла твоя
улыбка,
Не проси об этом счастьѣ, отравляющем
міры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта
скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительныя
руки,
У того исчез навѣки безмятежный свѣт очей:
Духи ада любят слушать эти царственные
звуки,
Бродят бѣшеные волки по дорогѣ скрипачей.

Надо вѣчно пѣть и плакать этим струнам,
звонким струнам,
Вѣчно должен биться, виться обезумѣвшій
смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под бѣлѣющим
буруном,
И когда пылает запад, и когда горит
восток.

Ты устанешь и замедлишь, а на миг прервется
пѣнье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться
и вздохнуть, —
Тотчас бѣшенные волки в кровожадном
изступленьи
В горло вцѣпятся зубами, встанут лапами на
грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмѣялось
все, что пѣло,
В очи глянет запоздалый, но властительный
испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как
тканью, тѣло,
И невѣста зарыдает и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здѣсь не встрѣтишь ни
веселья, ни сокровищ!
Но я вижу, ты смѣешься, эти взоры—два луча.
На, владѣй волшебной скрипкой, посмотри в
глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной
смертью скрипача!

ОДИНОЧЕСТВО.

Я спал, и смыла пѣна бѣлая
Меня с родного корабля.
И в черных водах, помертвѣлая,
Открылась мнѣ моя земля.

Она полна конями быстрыми
И красным золотом пещер,
Но ночью вспыхивают искрами
Глаза блуждающих пантер.

Там травы славятся узорами
И рѣки, словно зеркала,
Но рощи полны мандрагорами
Цвѣтами ужаса и зла.

На синевато-бѣлом мраморѣ
Я высоко, воздвиг маяк,
Чтоб пробѣгающіе на морѣ
Далеко видѣли мой стяг.

Я предлагал им перья страуса,
Плоды, коралловую нить,
Но не один стремленья паруса
Не захотѣл остановить.

Всѣ чтили древняго оракула
И приговор его суда
О том, чтоб вѣчно сердце плакало
У всѣх, заброшенных сюда.

И надо мною одиночество
Возносит огненную плеть
За то, что дреннее пророчество
Мнѣ суждено преодолѣть.

КАМЕНЬ.

А. И. Гумилевой.

Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не свѣтляки!

Давно угрюмые друиды,
Сибиллы хмурых королей,
Отмстить какія-то обиды
Его призвали из морей.

Он вышел черный, вышел страшный,
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу.

Летит пустынными полями,
За куст приляжет, подождет,
Сверкнет огнистыми щелями
И снова бросится вперед.

И рѣдко кто-бы мог увидѣть
Его ночной и тайный путь,
Но берегись его обидѣть,
Случайно как-нибудь толкнуть.

Он скроет жгучую обиду,
Глухое бѣшенство угроз,
Он промолчит и будет с виду
Недвижен, как простой утес.

Но гдѣ бы ты ни скрылся, спящій,
Тебѣ его не обмануть,
Тебя отыщет он, летящій,
И дико ринется на грудь.

И ты застонешь в изумленьи,
Завидя блеск его огней,
Заслыша шум его паденья
И жалкій треск твоих костей.

Горячей кровью пьяный, сытый,
Лишь утром он оставит дом.
И будет страшен труп забытый,
Как пес, раздавленный быком.

И, миновав поля и нивы,
Вернется к берегу он вновь,
Чтоб смыли вѣрные приливы
С него запекшуюся кровь.

ОДЕРЖИМЫЙ.

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитаго героя,
А сердце ноет и стучит,
Уныло чуя роковое.

Чрез дымный луг, и хмурый лѣс,
И угрожающее море
Бредет с копьем на перевѣс
Мое чудовищное горе.

Напрасно я спѣшу к коню,
Хватаю с трепетом поводья
И, обезумѣвшій, гоню
Его в ночныя половодья.

В болотѣ темном дикій бой
Для всѣх останется невѣдом,
И верх одержит надо мной
Привыкшій к сумрачным побѣдам:

Мнѣ сразу в очи хлынет мгла...
На полном, бѣшенном галопѣ
Я буду выбит из сѣдла
И покачусь в ночныя топи.

Как будет страшен этот час!
Я буду сжат доспѣхом тѣсным,
И, как всегда, о „coup de grace"
Я возоплю пред неизвѣстным.

Я угадаю шаг глухой
В невѣрной мглѣ ночного дыма,
Но, как всегда, передо мной
Пройдет невѣдомое мимо...

И утром встану я один
А дѣвы, рады играм вешним,
Шепнут: „Вот странный палладин
С душой, измученной нездѣшним“.

ПОЕДИНОК.

В твоем гербѣ невинность лилій,
В моем — багряные цвѣты,
И близок бой, рога завыли.
Сверкнули золотом щиты,

Идем, и каждый взгляд упорен.
И ухо ловит каждый звук,
И серебром жемчужных зерен
Блистают перевязи рук.

Я вызван был на поединок
Под звоны бубнов и литавр
Среди смѣющихся тропинок,
Как тигр в саду — угрюмый мавр.

Ты — дѣва-воин пѣсен давних,
Тобой гордятся короли,
Твое копье не знает равных
В предѣлах моря и земли.

Страшна борьба меж днем и ночью,
Но Богом нам она дана,
Чтоб люди видѣли воочью
Кому побѣда суждена.

Клинки столкнулись — отскочили,
И войско в трепетѣ глядит,
Как мы схватились и застыли:
Ты — гибкость стали, я — гранит.

Меня слѣпит твой взгляд упорный,
Твои сомкнутыя уста,
Я задыхаюсь в мукѣ черной,
И побѣждает красота.

Я пал... и молніи побѣднѣй
Сверкнул и в тѣло впился нож...
Тебѣ восторг — мой стон послѣдній,
Моя прерывистая дрожь.

И ты уходишь в славѣ ратной,
Толпа поет тебѣ хвалы,
Но ты воротишься обратно,
Одна, в плащѣ весенней мглы,

И, под равниной дымной дымно-бѣлой,
Мерцая шлемом золотым,
Найдешь мой труп окоченѣлый
И снова склонишься над ним.

„Люблю! О, помни это слово,
Я сохраню его всегда,
Тебя убила я живого,
Но не забуду никогда".

Лучи, сокройтеся назад вы...
Но заалѣла пѣна рѣк.
Уходишь ты, с тобою клятвы
Ненарушимыя во вѣк.

Еще не умер звук рыданій,
Еще шуршит твой бѣлый шелк,
А уж ко мнѣ ползет в туманѣ
Нетерпѣливо-жадный волк.

В ПУСТЫНѢ.

Давно вода в мѣхах изсякла,
Но, как собака, не умру:
Я в память дивнаго Геракла
Сперва отдам себя костру.

И пусть, пылая, жалят сучья,
Грозит чернѣющій Эреб,
Какое странное созвучье
У двух враждующих судеб!

Он был героем, я — бродягой,
Он — полубог, я — полузвѣрь,
Но с одинаковой отвагой
Стучим мы в замкнутую дверь.

Пред смертью всѣ, Терсит и Гектор,
Равно ничтожны и славны,
Я также выпью сладкій нектар
В полях лазоревой страны.

ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ.

(Картина в Луврѣ, работы неизвѣстнаго)

Его глаза — подземныя озера,
Покинутые, царскіе чертоги,
Отмѣчен знаком высшаго позора,
Он никогда не говорит о Богѣ.

Его уста — пурпуровая рана
От лезвія пропитаннаго ядом,
Печальныя, сомкнувшіяся рано,
Они зовут к непознанных усладам.

И руки, блѣдный мрамор полнолуній,
В них ужасы неснятаго проклятья,
Они ласкали дѣвушек-колдуній
И вѣдали кровавыя распятья

Ему в вѣках достался странный жребій
Служить мечтой убійцы и поэта,
Быть может, как родился он, на небѣ
Кровавая растаяла комета.

В его душѣ столѣтія обиды,
В его душѣ печали без названья,
За всѣ сады Мадонны и Киприды
Не промѣняет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,
И нѣжен цвѣт его атласной кожи.
Он может улыбаться и смѣяться,
Но плакать... плакать больше он не может.

ОСНОВАТЕЛИ.

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был глух и нѣм;
Ромул сказал: „Здѣсь будет город".
„Город, как солнце", отвѣтил Рем.

Ромул сказал: „Волей созвѣздій
Мы обрѣли наш древній почет".
Рем отвѣчал: „Что было прежде
Надо забыть, глянем вперед".

„Здѣсь будет цирк", промолвил Ромул,
„Здѣсь будет дом наш, открытый всѣм".
— „Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы", отвѣтил Рем.

ВЫБОР.

Созидающій башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на днѣ міроваго колодца
Он безумье свое проклянет.

Разрушающій будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, Всевидящим Богом оставлен,
Он о мукѣ своей возопит.

А ушедшій в ночныя пещеры,
Или к заводям тихой рѣки
Повстрѣчает свирѣпой пантеры
Наводящіе ужас зрачки.

Не избѣгнешь ты доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но, молчи! Несравненное право
Самому выбирать свою смерть.

ЛѢСНОЙ ПОЖАР.

Вѣтер гонит тучу дыма,
Словно грузнаго коня,
Вслѣд за ним неумолимо
Встало зарево огня.

Только в рѣдкіе просвѣты
Темно-бурых тополей
Видно розовые свѣты
Обезумѣвших полей.

Ярко вспыхивает маис,
С острым запахом смолы
И, шипя и разгораясь,
В пламя падают стволы.

Рѣзкій грохот, тяжкій топот,
Вой, мычанье, визг и рев,
И зловѣще-тихій ропот
Закипающих ручьев.

Вон несется слон — пустынник,
Лев стремительно бѣжит,
Обезьяна держит финик
И пронзительно визжить.

С вепрем, стиснутый бок-о-бок,
Легкій волк, душа ловитв,
Зубы бѣлы взор не робок —
Только время не для битв.

А за ними в дымных пущах
Льется новая волна
Опаленных и ревущих...
Как назвать их имена?

Словно там, под сводом ада,
Дьявол щелкает бичом,
Чтобы грѣшников громада
Вышла бѣшеным смерчем.

Все страшнѣй в ночи безсонной,
Все быстрѣе дикій бѣг,
И, огнями ослѣпленный,
Черной кровью обагренный,
Первым гибнет человѣк.

ЦАРИЦА.

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь глаза твои остры,
Тебѣ задумчивые бонзы
В Тибетѣ ставили костры.

Когда Тимур в унылой злобѣ
Народы бросил к их метѣ,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щитѣ.

И ты вступила в крѣпость Агры,
Свѣтла, как древняя Лилит,
Твои веселые онагры
Звенѣли золотом копыт.

Был вечер тих. Земля молчала,
Едва вздыхали цвѣтники,
Да от зеленаго канала,
Взлетая, рѣяли жуки.

И я слѣдил в тѣни колонны
Черты алмазнаго лица
И ждал, колѣнопреклоненный,
В одеждѣ розовой жреца.

Узорный лук в дугу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И острiе найдет тебя.

Тогда бы вспыхнуло былое:
Князей торжественный приход,
И пляски в зарослях алоэ
И дни веселые охот.

Но рот твой, вырѣзанный строго,
Таил такую смѣну мук,
Что я в тебѣ увидѣл бога
И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мнѣ метнулась,
Тѣснясь, волнуясь и крича,
И ты лѣниво улыбнулась
Стальной сѣкирѣ палача.

ТОВАРИЩ.

В. Ю. Эльснеру.

Что-то подходит близко вѣрно,
Холод томящій в грудь проник,
Каждою ночью в тьмѣ безмѣрной
Я вижу милый, странный лик.

Старый товарищ, древній ловчій,
Снова встаешь ты с ночного дна,
Тигра смѣлѣе, барса ловче,
Сильнѣе грузнаго слона.

Помню, все помню; как забуду
Рыжія кудри, крѣпость рук,
Меч твой, вносившій гибель всюду,
Из рога турьяго твой лук?

Помню и волка: с нами в мирѣ
Вмѣстѣ бродил он, вмѣстѣ спал,
Вечером я играл на лирѣ,
А он тихонько подвывал.

Что же случилось? Чьею властью
Вытоптан был наш дикій сад?
Раненый коршун, темной страстью
Товарищ дивный был объят.

Спутанно помню — кровь повсюду,
Душу гнетущій мертвый страх,
Ночь, и героев павших груду,
И труп товарища в волнах.

Что же теперь, сквозь ряд столѣтій
Выступил ты из смертных чащ,
В смуглых ладонях лук и сѣти
И на плечах багряный плащ?

Сладостной вѣрю я надеждѣ,
Лгать не умѣют сердцу сны,
Скоро пройду с тобою, как прежде,
В полях невѣдомой страны.

В БИБЛІОТЕКѢ.

М. Кузмину.

О, пожелтѣвшіе листы
В стѣнах вечерних библіотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянѣе, чѣм наркотик!

Мнѣ нынче труден мой урок,
Куда от странной грезы дѣться,
Я отыскал сейчас цвѣток
В процессѣ древнем Жиль де Реца.

Изрѣзан сѣтью блѣдных жил,
Сухой, но тайно благовонный...
Его, навѣрно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп
И мысли холодно — жестоки.

И вѣрно дьявольская страсть
В душѣ вставала, словно пѣнье,
Что дар любви, цвѣток, увясть
Был брошен в книгѣ преступленья.

И послѣ, там в тѣни аркад,
В великолѣпьи ночи дивной
Кого замѣтил тусклый взгляд,
Чей крик послышался призывный?

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старыя гробницы!
Мнѣ ясно кажется, что кровь
Пятнает многія страницы.

И терн сопутствует вѣнцу,
И бремя жизни злое бремя...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты... онѣ чисты,
А ты, убiйца дальнiй, кто ты?!
О, пожелтѣвшiе листы,
Шагреневые переплеты!

В ПУТИ.

Кончено время игры,
Дважды цвѣтам не цвѣсти,
Тѣнь от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез —
Скалы с обѣих сторон
И оголенный утес,
Гдѣ распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздох его — огненный смерч, —
Люди его назовут
Сумрачным именем: Смерть.

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нѣт, ни за что, ни за что!
Значит настала пора,
Лучше слѣпое Ничто,
Чѣм золотое Вчера!

Вынем же меч-кладенец
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрѣсти, наконец,
Неотцвѣтающій сад.

СЕМИРАМИДА.

Свѣтлой памяти И. Ѳ. Анненскаго.

Для первых властителей завиден мой
жребій
И боги не так горды,
Столпами из мрамора в пылающем небѣ
Укрѣпились мои сады.

Там рощи с цистернами для розовой влаги,
Голубые нѣжные мхи,
Рыбы и танцовщицы, и мудрые маги,
Короли четырех стихій.

Все манит и радует, все ясно и близко,
Все таит восторг тишины,
Но каждою полночью так страшно и низко
Наклоняется лик луны.

И в сумрачном ужасѣ от луннаго взгляда,
От цѣпких лунных сѣтей,
Мнѣ хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

ЧИТАТЕЛЬ КНИГ.

Читатель книг, и я хотѣл найти
Мой тихій рай в покорности сознанья,
Я их любил, тѣ странные пути,
Гдѣ нѣт надежд и нѣт воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпѣливо
И наблюдать, как пѣнится поток,
И слушать гул идущаго прилива!

Но вечером... О как она страшна,
Ночная тѣнь за шкафом, за кіотом,
И маятник, недвижный как луна.
Что свѣтит над мерцающим болотом!

АДАМ.

Адам, униженный Адам,
Твой блѣден лик и взор твой бѣшен,
Скорбишь ли ты по тѣм плодам,
Что ты срывал, еще безгрѣшен?

Скорбишь ли ты о той порѣ,
Когда еще ребенок-дѣва,
В душистый полдень на горѣ
Перед тобой плясала Ева?

Теперь ты знаешь тяжкій труд
И дуновенье смерти грозной,
Ты знаешь бѣшенство минут,
Припоминая слово — „поздно".

И боль жестокую, и стыд,
Неутомимый и безстрастный
Который медленно томит,
Который мучит сладострастно.

Ты был в раю, но ты был царь,
И честь была тебѣ порукой,
За счастье, вспыхнувшее встарь,
Надменный втрое платит мукой.

За то, что не был ты как труп,
Горѣл, искал и был обманут,
В высоком небѣ хоры труб
Тебѣ гремѣть не перестанут.

В суровой долѣ будь упрям,
Буд хмурым, блѣдным и согбенным,
Но не скорби по тѣм плодам,
Неискупленным и презрѣнным.

ВОИН АГАМЕМНОНА.

Смутную душу мою тяготит
Странный и страшный вопрос:
Можно ли жить, если умер Атрид,
Умер на ложѣ из роз?

Все, что нам снилось всегда и вездѣ,
Наше желанье и страх,
Все отражалось, как в чистой водѣ,
В этих спокойных очах.

В мышцах жила несказанная мощь,
Сказка — в изгибѣ колѣн,
Был он прекрасен, как облако, — вождь
Золотоносных Микен.

Что я? Обломок старинных обид,
Дротик, упавшій в траву,
Умер водитель народов, Атрид,
Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,
Смотрит с укором заря,
Тягостен, тягостен этот позор,
Жить, потерявши царя!

ВАРВАРЫ.

Когда зарыдала страна под немилостью
Божьей,
И варвары в город вошли молчаливой
толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица, нагою.
Трубили герольды. По вѣтру рвалися
знамена,
Как листья осенніе, прѣлые, бурые листья,
Роскошныя груды восточных щелков и
виссона
С краев украшали литыя из золота кости.
Царица была, как пантера суровых безлюдій
С глазами — провалами темнаго дикаго
счастья,
Под сѣткой жемчужной вздымались
дрожащія груди,
На смуглых руках и ногах трепетали
запястья.
И зов ея мчался, как звоны серебряной
лютни:
— «Спѣшите, герои, несущіе луки и пращи,
Нигдѣ, никогда не найти вам жены
безпріютнѣй
Чьи жалкіе стоны вам будут желаннѣй и
слаще.
— Спѣшите, герои, окованы мѣдью и
сталью
Пусть в бѣдное тѣло вопьются свирѣпые
гвозди.

И бышенством ващи нальются сердца и
печалью
И будут краснѣй виноградных,
пурпуровых гроздій.
— Давно я ждала вас, могучіе, грубые
люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших
становищ
Идите ж, терзайте для муки расцвѣтшія
груди
Герольд протрубит, не щадите завѣтных
сокровищ".

Серебряный рог, изукрашенный костью
слоновой
На бронзовом блюдѣ рабы протянули
герольду,
Но варвары севра хмурили гордыя брови,
Они вспоминали скитанья по снѣгу и по льду.

Они вспоминали холодное небо и дюны,
В зеленых трущобах веселые щебеты
птичьи,
И царственно — синіе женскіе взоры... и
струны,
Которыми скальды гремѣли о женском
величьи.

Кипѣла сверкала народом широкая площадь,
И ютное небо раскрыло свой огненный вѣер;
Но хмурый начальник сдержал опешенную
лошадь,
С надменной усмѣшкой войска повернул
он на сѣвер

⁂

В мой мозг, в мой гордый мозг
собрались думы,
Как воры ночью в тихій мрак предмѣстій;
Как коршуны зловѣщи и угрюмы,
Они, столпившись, требовали мести.

Я был один. Мечты мои бѣжали,
Мои глаза раскрылись от волненья,
И я читал на призрачной скрижали,
Мои слова, дѣла и преступленья.

За то, что я холодными глазами
Смотрѣл на игры смѣлых и побѣдных,
За то, что я кровавыми устами
Касался уст трепѣщущих и блѣдных.

За то, что эти руки, эти пальцы
Не знали плуга, были слишком стройны,
За, то, что пѣсни, вѣчные скитальцы,
Обманывали, были безпокойны.

За все теперь настало время мести,
Мой лживый, нѣжный храм слѣпцы
разрушат,
И думы, воры в тишинѣ предмѣстій,
Как нищаго во мглѣ, меня задушат.

ТЕАТР.

Всѣ мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Всѣ мы — смѣшные актеры
В театрѣ Господа Бога.

Бог возсѣдает на тронѣ,
Смотрит, смѣясь, на подмостки,
Звѣзды на пышном хитонѣ
Позолоченныя блестки.

Так хорошо и привольно
В ложѣ предвѣчнаго свѣта,
Дѣва Марія довольна,
Смотрит, склоняясь, в либретто:

— Гамлет? Он должен быть блѣдным,
Каин? Тот должен быть грубым...
Зрители внемлют побѣдным
Солнечным, ангельским трубам.

Бог, наклонясь, наблюдает,
К пьесѣ он полон участья. —
Жаль, если Каин рыдает,
Гамлет извѣдает счастье!

Так не должно быть по плану!
Чтобы блюсти упущенья,
Боли, глухому титану
Ввѣрил он ход представленья.

Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сѣтью,
Всѣх, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.

Множатся пытки и казни...
И возрастает тревога,
Что, коль не кончится празданик
В театрѣ Господа Бога?!

ПОТОМКИ КАИНА.

Сонет.

Он не солгал нам, дух печально-строгій,
Принявшій имя утренней звѣзды,
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод и будете, как боги».

Для юношей открылись всѣ дороги,
Для старцев — всѣ запретные труды,
Для дѣвушек — янтарные плоды
И бѣлые, как снѣг, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древняго соблазна

Когда случайно чья-нибудь рука
Двѣ жердочки, двѣ травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?

ДОН-ЖУАН.

Сонет.

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставит ногу в стремя
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новыя уста:

А в старости принять завѣт Христа,
— Потупить взор, посыпать пеплом темя
И взять на грудь спасающее бремя
Тяжелаго желѣзнаго креста!

И лишь когда средь оргіи побѣдной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик блѣдный,
Испуганный в тиши своих путей,

— Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имѣл от женщины дѣтей
И никогда не звал мужчину братом.

ПОПУГАЙ.

Сонет.

Я — попугай с Антильских островов,
Но я живу в квадратной кельѣ мага,
Вокруг реторты, глобусы, бумага
И кашель старика, и бой часов.

Пусть в час заклятій, в вихрѣ голосов
И в блескѣ глаз мерцающих, как шпага,
Ерошат крылья ужас и отвага
И я сражаюсь с призраками сов...

Пусть! Но едва под этот свод унылый
Войдет гадать о картах, иль о милой,
Распутник в раззолоченном плащѣ, —

Мнѣ грезится корабль в тиши залива,
Я вспоминаю солнце... и вотще
Стремлюсь забыть, что тайна некрасива.

СОН АДАМА.

От плясок и пѣсен усталый Адам
Заснул, неразумный, у Древа Познанья,
Над ним ослѣпительных звѣзд трепетанья,
Лиловыя тѣни скользять по лугам,
И дух его сонный летить над лугами,
Внезапно настигнут зловѣщими снами.

Он видит пылающій ангельскій меч,
Что жалит нещадно его и подругу,
И гонит из рая в суровую вьюгу,
Гдѣ нечѣм прикрыть им ни бедер, ни плеч...

Как звѣри, должны они строить жилище,
Пращой и дубиной искать себѣ пищи.

Обитель труда и болѣзней... но здѣсь
Впервые постиг он с подругой единство,
Подругѣ — блаженство и боль материнства,
И заступ ему, чтобы вскапывать весь,
Служеньем Иному прекрасны и грубы,
Нахмурены брови и стиснуты губы.

Вот новые люди... очерчен их рот,
Их взоры не блещут и смѣх их случаен,

За вепрями сильный охотится Каин.
И Авель сбирает маслины и мед;
Но волѣ не служат они патріаршей,
Пал младшій и в ужасѣ кроется старшій.

И многое видит смущенный Адам:
Он тонет душою в распутствѣ и нѣгѣ,

Он ищет спасенья в надежном ковчегѣ
И строется снова суров и упрям,
Медлительный пахарь, и воин, и всадник...
Но Бог охраняет его виноградник.

На бурный поток наложил он узду,
Безсонною мыслью постиг равновѣсье,
Как ястреб врѣзается он в поднебесье,
У косной земли отнимает руду,
Покорны и тихи, хранят ему книги
Напѣвы поэтов и тайны религій.

И в ночь волхованій на пышные мхи
К нему для объятій нисходят сильфиды,
К услугам его отомщать за обиды
И звѣздные духи и духи стихій,
И к солнечным скалам из грозной пучины
Влекут его челн голубые дельфины.

Он любит забавы опасной игры —
Искать в океанах безвѣстныя страны,
Ступать безразсудно на волчьи поляны
И видѣть разнину с высокой горы,
Гдѣ с узких тропинок срываются козы
И душныя, красныя клонятся розы.

Он любит и скрежет стального рѣзца,
Дробящаго глыбистый мрамор для статуй,
И дѣвственный холод зари розоватой,
И нѣжный овал молодого лица, —
Когда на холстѣ под ударами кисти
Ложатся они и свѣтлѣй и лучистѣй.

Устанет и к небу возводит свой взор,
Слѣпой и кощунственный взор человѣка,

Там, Богом раскинут от вѣка до вѣка,
Мерцает над ним многозвѣздный шатер,
Святыми ночами, спокойный и строгій,
Он клонит колѣна и грезит о Богѣ.

Он новыя мысли, как свѣтлых гостей,
Всегда ожидает из розовой дали,
А с ними, как новыя звѣзды, печали
Еще неизвѣданных дум и страстей,
Провалы в мечтаньях и ужас в искусствѣ,
Чтоб сердце болѣло от тяжких предчувствій.

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловѣщем мерцаньи ея жемчугов,
Предвѣстница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных и хмурых несчастій.

Так золото манит и радует взгляд,
Но в золотѣ темныя силы таятся,
Онѣ управляют рукой святотатца
И в братскіе кубки вливают свой яд
Не в силах насытить, смѣются и мучат
И стонам и крикам неистовым учат.

Он борется с нею. Коварный, как змѣй,
Ее он опутал сѣтями соблазна,
Вот Ева блудница, лепечет безсвязно,
Вот Ева святая с печалью очей,
То лунная дѣва, то дѣва земная,
Но вѣчно и всюду чужая, чужая.

И он, наконец, безпредѣльно устал,
Устал и смѣяться и плакать без цѣли,
Как лебеди, стаи вѣков пролетѣли,
Играли и пѣли, он их не слыхал,
Спокойный и строгій на мраморных скалах.
Он молится Смерти, богинѣ усталых:

«Узнай, Благодатная, волю мою,
На степи земныя, на море земное,
На скорбное сердце мое заревое
Пролей смертоносную влагу свою,
Довольно бороться с безумьем и страхом,
Рожденный из праха, да буду я прахом»!

И, медленно рѣя багровым хвостом,
Помчалась к землѣ голубая комета,
И страшно Адаму и больно от свѣта
И рвет ему мозг нескончаемый гром,
Вот огненный смерч перед ним закрутился,
Он дрогнул и крикнул...и вдруг пробудился.

Направо сверкает и пѣнится Тигр,
Налѣво — зеленыя воды Ефрата,
Долина серебряным блеском объята,
Тѣнистыя отмели манят для игр,
И Ева кричит из весенняго сада —
«Ты спал и проснулся... я рада, я рада».

Жемчуг сѣрый

... Что ж! Пойду в пещеру к вѣрным
молотам;

Их взносить над горном жгучепламенным,
Опускать их пылающій металл.

Валерій Брюсов.

ВОЗВРАЩЕНІЕ ОДИССЕЯ.

I. У берега.

Сердце — улей, полный сотами,
Золотыми, несравненными!
Я борюсь с водоворотами
И клокочущими пѣнами.

Я трирему с грудью острою
В бурѣ бѣшенной измучаю
Но домчусь к родному острову
С грозовою сизой тучею.

Я войду в дома просторные,
Сердце встрѣчами обрадую
И забуду годы черные,
Проведенные с Палладою.

Так! Но кто, подобный коршуну,
Над моей душою носится,
Словно манит к року горшему,
С новой кручи в бездну броситься?

В кораблѣ раскрылись трещины,
Море взрыто ураганами,
Берега, что мнѣ обѣщаны,
Исчезают за туманами.

И шепчу я, робко слушая
Вой над водною пустынею:
— „Нѣт, союза не нарушу я
С необорною богинею“.

II. Избіенье жениховъ.

Только надъ городомъ мѣсяцъ двурогій
Остро прорѣзалъ вечернюю мглу,
Всталъ Одиссей на высокомъ порогѣ,
Въ грудь Антиноя онъ бросилъ стрѣлу.

Чаша упала изъ рукъ Антиноя,
Очи окуталъ кровавый туманъ,
Легкая дрожь... и не стало героя,
Лучшаго юноши греческихъ странъ.

Схвачены ужасомъ, встали другіе,
Робко хватаясь за щитъ и за мечъ,
Тщетно! Увѣренны стрѣлы стальныя,
Злобно-насмѣшлива царская рѣчь:

„Что-же, князья знаменитой Итаки,
Что не спѣшите вы встрѣтить царя,
Жертвенной кровью священные знаки
Запечатлѣть у его алтаря?“

„Вы истребляли подъ грохотъ тимпановъ
Все, что мнѣ было богами дано,
Тучныхъ быковъ, круторогихъ барановъ,
Съ кипрскихъ холмовъ золотое вино“.

„Льстивыя рѣчи шептать Пенелопѣ,
„Ночью ласкать похотливыхъ рабынь,
Слаще, чѣмъ биться подъ музыку копій,
Плавать надъ ужасомъ водныхъ пустынь!“

„Что? Вы хотите платить за обиды,
Ваши дворцы предлагаете мнѣ?
Я бы не принялъ и всей Атлантиды,
Всѣхъ городовъ, погребенныхъ на днѣ!“

„Звонко поют окрыленныя стрѣлы,
Мѣрно блестит угрожающій меч,
Всѣ вы, князья, и трусливый и смѣлый,
Бѣлою грудой готовитесь лечь.“

„Вот Евримах, низкорослый и ручный,
Блѣден... блѣднѣе он мраморных стѣн,
В ужасѣ бьется, как овод докучный,
Юною дѣвой захваченный в плѣн“.

„Вот Антином... разъяренные взгляды...
Сам он громаден и грузен, как слон,
Был бы он первым героем Эллады,
Если бы с нами отплыл в Иліон“.

„Падают, падают тигры и лани
И никогда не поднимутся вновь,
Что это? Брошены красныя ткани,
Или, дымясь, растекается кровь?“

„Ну, собирайся со мною в дорогу,
Юноша свѣтлый, мой сын Телемах,
Надо служить безпощадному богу,
Богу Тревоги на черных путях“.

„Снова полюбим влекущую дал мы
И золотой от луны горизонт,
Снова увидим священныя пальмы
И опѣненный клокочущій Понт“.

„Пусть незапятнано ложе царицы,
Грѣшныя к ней прикасались мечты,
Чайки бѣлѣй и невиннѣй зарницы
Темной и страшной ея красоты.“

III. Одиссей у Лаэрта.

Еще один стариный долг,
Мой рок, еще один священный!
Я не убійца, я не волк,
Я чести сторож неизмѣнный.

Лица морщинистаго черт
В умѣ не стерли вихри жизни,
Тебя привѣтствую, Лаэрт,
В твоей задумчивой отчизнѣ.

Смотрю: украсили сады
Холмов утесистые скаты,
Какіе спѣлые плоды,
Как сладок запах свѣжей мяты!

Я слезы кротости пролью,
Я сердце к счастью приневолю,
Я земно кланяюсь ручью
И бѣдной хижинѣ, и полю.

И сладко мнѣ, и больно мнѣ
Сидѣть с тобой на козьей шкурѣ,
Я вѣрю — боги в тишинѣ,
А не в смятеньи и не в бурѣ.

Но что мнѣ розовых харит
Неисчислимыя услады?!
Над морем встал алмазный щит
Богини воинов Паллады.

Старик, спѣша отсюда прочь,
Послѣдній раз тебя цѣлую
И снова ринусь грудью в ночь
Увидѣть бездну грозовую.

Но в час, как Зевсовой рукой
Мой черный жребій будет вынут,
Когда предсмертною тоской
Я буду навзничь опрокинут, —

Припомню я не день войны,
Не праздник в пламени и дымѣ,
Не ласки звойныя жены,
Увы, дѣлимыя с другими,

— Тебя, твой миртовый вѣнец,
Глаза, безоблачнѣе неба,
И с нѣжным именем „отец"
Сойду в обители Эреба.

ЗАВѢЩАНЬЕ.

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мглѣ,
Не хочу я вернуться к отчизнѣ,
К усыпляющей мертвой землѣ.

Пусть высоко на розовой влагѣ
Вечерѣющих горных озер
Молодые и строгіе маги
Кипарисовый сложат костер.

И покрно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп
Чтоб смотрѣл я с послѣдняго ложа
С затаенной усмѣшкою губ.

И когда заревое чуть тронет
Темным золотом мраморный мол,
Пусть задумчивый факел уронит
Благовонье пылающих смол.

И свирѣль тишину опечалит,
И серебряный донг заревет,
В час, когда задрожит и отчалит
Огнѣющій траурный плот.

Словно демон в лѣсу волхованій,
Снова вспыхнет мое бытіе,
От мучительных красных лобзаній
Зашевелится тѣло мое.

И пока к пустотѣ или раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня.

ОЗЕРА.

Я счастье разбил с торжеством святотатца
И нѣт ни тоски, ни укора,
Но каждою ночью так ясно мнѣ снятся
Большія, ночныя озера.

На траурно-черных волнах ненюфары,
Как думы мои, молчаливы
И будят забытыя, грустныя чары
Серебряно-бѣлыя ивы.

Луна освѣщает изгибы дороги
И видит пустынное поле,
Как я задыхаюсь в тяжелой тревогѣ
И пальцы ломаю до боли.

Я вспомню, и что-то должно появиться,
Как сумрачной драмѣ развязка,
Печальная дѣвушка, бѣлая птица,
Иль странная нѣжная сказка.

И новое солнце заблещет в туманѣ,
И будут стрекозами тѣни,
И гордые лебеди древних сказаній
На бѣлыя выйдут ступени.

Но мнѣ не припомнить. Я, слабый, безкрылый.
Смотрю на ночныя озера
И слышу, как волны лепечут без силы
Слова рокового укора.

Проснусь, и как прежде увѣренны губы,
Далеко и чуждо ночное,
И так по-земному прекрасны и грубы
Минуты труда и покоя.

СТАРЫЙ КОНВИСТАДОР.

Углубясь в невѣдомыя горы,
Заблудился старый конвистадор,
В дымном небѣ плавали кондоры,
Нависали снѣжныя громады.

Восем дней скитался он без пищи,
Конь издох, но под большим уступом
Он нашел уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом.

Там он жил в тѣни сухих смоковниц,
Пѣсни пѣл о солнечной Кастильи,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видѣл то пищали, то мантильи.

Как всегда был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанныя кости.

ПРАВЫЙ ПУТЬ.

В муках и пытках рождается слово,
Робкое, тихо проходит по жизни,
Странник, — оно, — из ковша золотого
Пьющій остатки на варварской тризнѣ.

Выйдешь к природѣ! Природа враждебна.
Все в ней пугает, всего в ней помногу,
Вѣчно звучит в ней фанфара молебна
Не твоему и ненужному Богу.

Смерть? Но сперва эту сказку поэта
Взвѣсь осторожно и мудро исчисли,
— Жалко не будет ни жизни, ни свѣта,
Но пожалѣешь о царственной мысли.

Что-ж, это путь величавый и строгій:
Плакать с осенним произительным вѣтром,
С нищими нищим таиться в берлогѣ,
Хмурыя думы оковывать метром.

ОРЕЛ.

Орел летѣл все выше и вперед
К Престолу Сил сквозь звѣздныя преддверья
И был прекрасен царственный полет,
И лоснились коричневыя перья.

Гдѣ жил он прежде? Может быть, в плѣну,
В оковах королевскаго звѣринца,
Кричал, встрѣчая дѣвушку-весну,
Влюбленную в задумчиваго принца.

Иль, может быть, в берлогѣ колдуна,
Когда глядѣл он в узкое оконце,
Его зачаровала вышина
И властно превратила сердце в солнце.

Не все-ль равно?! Играя и маня,
Лазурное вскрывалось совершенство,
И он летѣл три ночи и три дня
И умер, задохнувшись от блаженства.

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетнаго движенья,
Бездонная внизу зіяла пасть,
Но были слабы силы притяженья.

Лучами был пронизан небосвод,
Божественно-холодными лучами,
Не зная тлѣнья, он летѣл вперед,
Смотрѣл на звѣзды мертвыми очами.

Не раз в бездонность рушились міры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолѣпная могила.

ВОРОТА РАЯ.

Не семью печатями алмазными
В Божій рай замкнулся вѣчный вход,
Он не манит блеском и соблазнами
И его не вѣдает народ.

Это дверь в стѣнѣ давно заброшенной,
Камни, мох, и больше ничего,
Возлѣ нищій, словно гость непрошенный,
И ключи у пояса его.

Мимо ѣдут рыцари и латники,
Трубный вой, бряцанье серебра,
И никто не взглянет на привратника,
Свѣтлаго апостола Петра.

Всѣ мечтают: «там, у Гроба Божія
Двери рая вскроются для нас
На горѣ Фаворѣ, у подножія
Прозвенит обѣтованный час».

Так проходит медленное чудище,
Завывая, трубит звонкій рог,
И апостол Петр в дырявом рубищѣ,
Словно нищій, блѣден и убог.

КОЛДУНЬЯ.

Она колдует тихой ночью
У потемнѣвшаго окна
И страстно хочет, чтоб воочью
Ей тайна сдѣлалась видна.

Как бред мольба ея безсвязна,
Но мысль, упорна и горда,
Она не вѣдает соблазна
И не отступит никогда.

Внизу... там дремлет город пестрый
И кто-то слушает и ждет,
Но меч, увѣренный и острый,
Он тоже знает свой черед.

На мертвой площади, гдѣ сѣро
И сонно падает роса,
Живет неслыханная вѣра
В ея ночныя чудеса.

Но тщетен зов ея кручины,
Земля все та же, что была,
Вот солнце выйдет из пучины
И позолотит купола.

Ночныя тѣни станут рѣже,
Прольется гул, как ропот вод,
И в сонный город вѣтер свѣжій
Прохладу моря донесет.

И меч сверкнет, и кто-то вскрикнет,
Кого-то примет тишина,
Когда усталая поникнет
У заалѣвшаго окна.

ВЕЧЕР.

Еще один ненужный день,
Великолѣпный и ненужный!
Приди, ласкающая тѣнь,
И душу смутную одѣнь
Своею ризою жемчужной.

И ты пришла... ты гонишь прочь
Зловѣщих птиц — мои печали.
О, повелительница ночь,
Никто не в силах превозмочь
Побѣдный шаг твоих сандалій!

От звѣзд слетает тишина,
Блестит луна — твое запястье,
И мнѣ во снѣ опять дана
Обѣтованная страна —
Давно оплаканное счастье.

***

Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо, безконечно голубое,
Небо, золотое от лучей.

И чего еще ты хочешь, сердце?
Развѣ счастье — сказка или ложь?
Для чего-ж соблазнам иновѣрца
Ты себѣ покорно отдаешь?

Развѣ снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду,
Развѣ ты не властно жить, как травы
В этом упоительном саду.

*
* *

У меня не живут цвѣты,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день, другой, и завянут,
У меня не живут цвѣты.

Да и птицы здѣсь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А на утро — комочек из пуха...
Даже птицы здѣсь не живут.

Только книги в восем рядов,
Молчаливые, грузные томы
Сторожат вѣковыя истомы,
Словно зубы в восем рядов.

Мнѣ продавшій их букинист,
Помню, был и горбатым и нищим...
... Торговал за проклятым кладбищем
Мнѣ продавшій их букинист.

ЭТО БЫЛО НЕ РАЗ.

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битвѣ глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась;
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующій друг,
Враг мой, схваченный темной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцѣлуи окрашены кровью.

СТАРИНА.

Вот парк с пустынными опушками,
Гдѣ сонных трав печальна зыбь,
Гдѣ поздно вечером с лягушками
Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашенный,
В нем словно плаваеть туман,
В нем залы гулкія украшены
Изображеніем пейзан.

Тревожный сон... Но сон о небѣ ли?
Нѣт! На высоком чердакѣ,
Как ряд скелетов, груды мебели
В пыли почіют и тоскѣ.

Мнѣ суждено одну тоску нести,
Гдѣ дѣд раскладывал пасьянс
И гдѣ влоблялись тетки в юности
И танцевали контреданс.

И сердце мутится бездомное,
Что им владѣет лишь одна,
Такая скучная и темная,
Незолотая старина.

... Теперь бы кручи необорныя,
Снѣга серебряных вершин,
Да тучи сизыя и черныя
Над гулким грохотом лавин!

*
* *

Он поклялся в строгом храмѣ
Перед статуей Мадонны,
Что он будет вѣрен дамѣ,
Той чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном бракѣ,
Всюду ласки расточая,
Ночью был зарѣзан в дракѣ
И пришел к преддверьям рая.

— «Ты-ль в моем не клялся храмѣ.»
Прозвучала рѣчь Мадонны:
«Что ты будешь вѣрен дамѣ,
Той, чьи взоры непреклонны?»

«Отойди, не эти жатвы
Собирает Царь Всевышній,
Кто нарушил слово клятвы,
В Царствѣ Божіем тот лишній.»

Но, печальный и упрямый,
Он припал к ногам Мадонны:
— «Я нигдѣ не встрѣтил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны,»

БЕАТРИЧЕ.

1.

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в пѣснях излейте,
Спойте мнѣ пѣсню о Дантѣ
Или сыграйте на флейтѣ.

Дальше, докучные фавны,
Музыки нѣт в вашем кличѣ,
Знаете-ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче.

Странная бѣлая роза
В тихой вечерней прохладѣ
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощадѣ?

Жил безпокойный художник,
В мірѣ лукавых обличій
Грѣшник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Тайныя думы поэта
В сердцѣ его прихотливом
Стали потоками свѣта,
Стали шумящим приливом.

Мулы, в сонетѣ — бриллльянтѣ
Странную тайну отмѣтьте,
Спойте мнѣ пѣсню о Дантѣ
И Габріелѣ Россетти.

2.

В моих садах цвѣты, в твоих — печаль,
Приди ко мнѣ, красивою печалью,
Заворожи, как дымчатой вуалью.
Моих садов мучительную даль.

Ты — лепесток иранских бѣлых роз,
Войди сюда, в сады моих томленій,
Чтоб не было порывистых движеній,
Чтоб музыка была пластичных поз.

Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор мэнад, а хор дѣвичій
Пѣл красоту твоих печальных губ.

3.

Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Темной пытки отчаянья, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволій,
Усмиренный, покорный, я твой навсегда.

Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны—звѣри, подняв свой мерцающій гроб,
Нас крутили и били в объятьях желѣзных
И бросали на скалы, гдѣ пряталась скорбь.

Но теперь, словно бѣлые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков,
Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы
На хрустящій песок золотых островов.

4.

Я не буду тебя проклинать,
Я печален печалью разлуки,
Но хочу и теперь цѣловать
Я твои уводящія руки.

Все свершилось, о чем я мечтал
Еще мальчиком странно-влюбленным,
Я увидѣл блестящій кинжал
В этих милых руках обнаженным.

Ты подаришь мнѣ смертную дрож,
А не блѣдную дрожь сладострастья,
И меня навсегда уведешь
К островам совершеннаго счастья.

МОЛИТВА.

Солнце свирѣпое, Солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущаго,
Лицо сумасшедшее,

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущаго,
Но помилуй прошедшее!

КАПИТАНЫ.

1.

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто извѣдал мальстремы и мель;

Чья, не пылью затерянных хартій, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной картѣ
Отмѣчает свой дерзостный путь,

И, взойдя на трепещущій мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пѣны с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Развѣ трусам даны эти руки,
Этот острый увѣренный взгляд,
Что умѣет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Мѣткой пулей, острогой желѣзной
Настигать исполинских китов,
И примѣтить в ночи многозвѣздной
Охранительный свѣт маяков?

2.

Вы всѣ, палладины Зеленаго Храма,
Над пасмурным морем слѣдившіе румб,
Гоональдо и Кук, Лаперуз и де Гама,
Мечтатель и царь, генуезец Колумб!

Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбій,
Синдбад-Мореход и могучій Уллис,
О ваших побѣдах гремят в дифирамбѣ,
Сѣдые валы, набѣгая на мыс!

А вы, королевскіе псы, флибустьеры,
Хранившіе золото в темном порту,
Скитальцы арабы, искатели вѣры,
И первые люди на первом плоту!

И всѣ, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостылѣли страны отцов,
Кто дерзко хохочет, насмѣшливо свищет,
Внимая завѣтам сѣдых мудрецов!

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Завѣтныя ваши шептать имена,
И вдруг догадаться, какіе наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!

И кажется, в мірѣ, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Гдѣ в солнечных рощах живут великаны
И свѣтят в прозрачной водѣ жемчуга.

С деревьев стекают душистыя смолы,
Узорныя листья лепечут: «Скорѣй,
Здѣсь рѣют червоннаго золота пчелы,
Здѣсь розы краснѣе, чѣм пурпур царей»!

И карлики с птицами спорят за гнѣзда,
И нѣжен у дѣвущек профил лица...
Как будто не всѣ пересчитаны звѣзды,
Как будто наш мір не открыт до конца!

3.

Только глянет сквозь утесы
Королескій старый форт,
Как веселые матросы
Поспѣшат в знакомый порт.

Там, хватив в тавернѣ сидру,
Рѣчь ведет болтливый дѣд,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.

Темнокожія мулатки
И гадают и поют,
И несется запах сладкій
От готовящихся блюд.

А в заплеванных тавернах
От заката до утра
Мечут ряд колод невѣрных
Завитые шуллера.

Хорошо по докам порта
И слоняться, и лежать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затѣвать.

Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С мѣдным обручем в носу.

А потом блѣднѣть от злости,
Амулет зажать в полу,
Все проигрывая в кости.
На затоптанном полу.

Но смолкает зов дурмана,
Пьяных слов безсвязиый лет,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет.

4.

Но в мірѣ есть иныя области,
Луной мучительной томимы,
Для высшей силы, высшей доблести,
Они навѣк недостижимы.

Там волны с блесками и всплесками
Непрекращаемаго танца,
И там летит скачками рѣзкими
Корабль Летучаго Голландца.

Ни риф, ни мель ему не встрѣтятся,
Но, знак печали и несчастій,
Огни святого Эльма свѣтятся,
Усѣяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою,
Окровавленной, но желѣзною
В штурвал вцѣпляется — другою.

Как смерть, блѣдны его товарищи,
У всѣх одна и та же дума,
Так смотрят трупы на пожарищѣ
Невыразимо и угрюмо.

И если в час прозрачный, утреннiй
Плавцы в морях его встрѣчали,
Их вѣчно мучил голос внутреннiй
Слѣпым предвѣстiем печали.

Ватагѣ буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всѣх страшнѣй и всѣх таинственнѣй
Для смѣлых цѣнителей моря. —

О том, что гдѣ-то есть окраина —
Туда, за тропик Козерога! —
Гдѣ капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.

Жемчуг розовый

— Что твой знак? — Прозрѣнье глаза
Дальность слуха, окрыленіе ног:“

Вячесляв Иванов.

РЫЦАРЬ С ЦѢПЬЮ.

Слышу гул и завыванье призывающих
рогов
И я снова конквистадор, покоритель городов,
Словно раб я был закован, жил
униженный в плѣну,
И забыл, неблагодарный, про могучую весну.

А она пришла, ступая над рубинами цвѣтов,
И, ревнивая, разбила сталь мучительных
оков,
Я опять иду по скалам, пью студенныя
струи,
Под дыханьем океана раны зажили мои.

Но, вступая, обновленный, в неизвѣстную
страну,
Ничего я не забуду, ничего не прокляну.
И чтоб помнить каждый подвиг и
возвышенность, и степь,
Я к серебрянному шлему прикую стальную
цѣпь.

ЗАВОДИ.

Н. В. Анненской.

Солнце скрылось на западѣ
За полями обѣтованными
И стали тихія заводи
Синими и благоуханными.

Сонно дрогнул камыш,
Пролетѣла летучая мышь,
Рыба плеснулась в омутѣ...
... И направились к дому тѣ,

У кого есть дом
С голубыми ставнями,
С креслами давными,
И круглым чайным столом.

Я один остался на воздухѣ
Смотрѣл на сонную заводь,
Гдѣ днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, Господи.

АНДРОГИН.

Тебѣ никогда не устанем молиться,
Немыслимо-дивное Бог-Существо,
Мы знаем, Ты здѣсь, Ты готов проявиться,
Мы вѣрим, мы вѣрим в Твое торжество.

Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,
Ты в жертву приносишь себя самое,
Ты тѣло даешь для Великаго Бога,
Изысканно-нѣжное тѣло свое.

Спѣши же, подруга! Как духи нагими
Должны мы исполнить старинный обѣт,
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
И, вздрогнув, услышать желанный отвѣт.

Я вижу, ты медлишь, смущаешься... Что! же?-
Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,
Чтоб странный и свѣтлый с бесумнаго ложа,
Как феникс из пламени, встал Андрогин.

И воздух как роза, и мы как видѣнья,
То близок к отчизнѣ своей пилигрим...
И вѣрь! Не коснется до нас наслажденье
Бичем оскорбительно-жгучим своим.

КЕНГУРУ.

Утро дѣвушки.

Сон меня сегодня не разнѣжил,
Я проснулась рано по утру
И пошла, вдыхая воздух свѣжій,
Посмотрѣть ручного кенгуру.

Он срывал пучки смолистых игол,
Глупый, для чего-то их жевал
И смѣшно, смѣшно ко мнѣ запрыгал
И еще смѣшнѣе закричал.

У него так неуклюжи ласки,
Но и я люблю ласкать его,
Чтоб его коричневые глазки
Мигом освѣтило торжество.

А потом, охвачена истомой,
Я мечтать усѣлась на скамью:
Что-ж нейдет он, дальній, незнакомый,
Тот один, котораго люблю!

Мысли так отчетливо ложатся,
Словно тѣни листьев по утру,
Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
Как ко мнѣ ласкался кенгуру.

*
* *

Ты помнишь, у облачных впадин
В бассейнѣ серебряных рыб,
Аллеи высоких платанов
И башни из каменных глыб

Как кон золотистый у башен,
Играя, вставал на дыбы
И бѣлый чапрак был украшен
Узорами тонкой рѣзьбы.

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Гдѣ звѣзды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз.

Теперь, о скажи, не блѣднѣя,
Теперь мы с тобою не тѣ,
Быть может, сильнѣй и смѣлѣе,
Но только чужіе мечтѣ.

У нас как точенныя руки,
Красивы у нас имена,
Но мертвой томительной скукѣ
Душа навсегда отдана.

И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать,
То время, когда мы любили,
Когда мы умѣли летать.

МАЭСТРО.

Н. Л. Сверчкову.

———

В красном фракѣ с галунами,
Надушенный встал Маэстро,
Он разсыпал перед нами
Звуки легкіе оркестра.

Звуки мчались и кричали,
Как видѣнья, как гиганты,
И метались в гулкой залѣ,
И роняли брилліанты.

К золотым сбѣгали рыбкам,
Что плескались там в бассейнѣ,
И по дѣвичьим улыбкам
Плыли тише и лилейнѣй.

Созидали башни храмам
Голубѣющаго рая
И ласкали плечи дамам,
Улыбаясь и играя.

А потом с веселой дрожью,
Закрутившись вкруг оркестра,
Тихо падали к подножью
Надушеннаго маэстро.

ХРИСТОС.

Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода».

«Лучше-ль рыбы или овцы
Человѣческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши.»

«Вѣдь не домик в Галилеѣ
Вам награда за труды, —
Свѣтлый рай, что розовѣе
Самой розовой звѣзды».

«Солнце близится к притину,
Слышно вѣянье конца,
Но отрадно будет Сыну
В Домѣ Нѣжнаго Отца».

Не томит, не мучит выбор,
Что плѣнительнѣй чудес?!
И идут пастух и рыбарь.
За искателем небес.

СКАЗОЧНОЕ.

Ярче золота вспыхнули дни
И бѣжала медвѣдица-ночь,
Догони ее, княз, догони,
Заарканъ и к сѣдлу приторочь.

Через лѣс, через ров, через гать
Устремилась она к колдуну,
Чтоб с недобрым гадать, волховать
И губить молодую весну.

Догони ее, князь, догони,
Не жалѣй дорогого коня,
Посмотри, усмѣхаются пни,
В темных дуплах мерцанье огня.

Заарканъ и к сѣдлу приторочъ,
А потом в голубом терему
Укажи на медвѣдицу-ночь
Богатырскому псу своему.

Мертвой хваткой вцѣпляется песъ,
Он отважен, силен и хитер,
Он звѣриную злобу донес
К колдунам с незапамятных пор.

Великая Радость, смѣясь,
На узорное ступит крыльцо,
Тихо молвит: «люблю тебя, князь,
Для тебя я открыла лицо».

ОХОТА.

Князь вынул бич и кинул клич,
Грозу охотничьих добыч,

И бѣлый конь, душа погонь,
Ворвался в стынущую сонь.

Удар копыт в снѣгу шуршит.
И звѣрь встает, и звѣрь бѣжит,

Но не спастись ни в глубь, ни в высь,
Как змѣи, стрѣлы понеслись.

Их легкій взмах наводит страх
На неуклюжих россомах,

Грызет их мѣдь сѣдой медвѣдь
Но все же должен умереть,

И легче птиц, склоняясь ниц,
Князь ищет четкій слѣд лисиц.

Но вечер ал, и князь устал,
Прилег на мох и задремал,

Не дремлет конь, его не тронь,
Огонь в глазах его, огонь.

И, волк равнин, подходит финн,
Туда, гдѣ дремлет властелин,

А ночь свѣтла, земля бѣла,
Господь, спаси его от зла!

*
* *

Мнѣ снилось: мы умерли оба,
Летим с упокоенным взглядом,
Два бѣлые, бѣлые гроба.
Поставлены рядом.

Когда мы сказали «довольно»?
Давно ли и что это значит?
Но странно, что сердцу не больно,
Что сердце не плачет.

Безсильныя чувства так странны,
Застывшія мысли так ясны,
И губы твои не желанны,
Хоть вѣчно прекрасны.

Свершилось! Мы умерли оба,
Летим с успокоенным взглядом,
Два бѣлые, бѣлые гроба
Поставлены рядом.

ПОКОРНОСТЬ.

Только усталый достоин молиться багам,
Только влюбленный — ступать по весенним
лугам!
На небѣ звѣзды, и тихая грусть на землѣ,
Тихое «пусть» прозвучало и тает во мглѣ.

Это покорность! Приди и склонись надо мной,
Блѣдная дѣва под траурно-черной фатой!
Край мой печален, затерян в болотной
глуши,
Нѣту прекраснѣе края для скорбной души.

Вон порыжевшія почки и мокрый овраг,
Я для него отрекаюсь от призрачных благ.
Что я: влюблен или просто смертельно устал,
Так хорошо, что мой взор, наконец,
отблистал

Тахо смотрю, как степная колышется зыбь,
Тихо внимаю, как плачет болотная выпь.

УХОДЯЩЕЙ.

Не мѣдной музыкой фанфар,
Не грохотом рогов
Я мой привѣтствовалъ пожар
И сон твоих шагов.

— Сковала блѣдная уста
Святая Тишина
И в небѣ знаменем Христа
Сіяла нам луна.

И рокотали соловьи
О Розѣ Горных стран,
Когда глаза мои, твои,
Заворожил туман.

И вот теперь, когда с тобой
Я здѣсь послѣдній раз,
Слезы ни флейта, ни гобой,
Не вызовут из глаз.

Теперь душа твоя мертва,
Мечта твоя темна,
А мнѣ все тѣ ж твердит слова
Святая Тишина.

Соединяющій тѣла
Их разлучает вновь,
Но будет жизнь моя свѣтла,
Пока жива любовь.

СВИДАНЬЕ.

Сегодня ты придешь ко мнѣ,
Сегодня я пойму,
Зачѣм так странно при лунѣ
Остаться одному.

Ты остановишься, блѣдна,
И тихо сбросишь плащ,
Не так ли полная луна
Встает из темных чащ?

И, околдованный луной,
Окованный тобой,
Я буду счастлив тишиной,
И мраком, и судьбой.

Так звѣрь безрадостных лѣсов,
Почуявшій весну,
Внимает шороху часов
И смотрит на луну,

И тихо крадется в овраг
Будить ночные сны,
И согласует легкій шаг
С движеніем луны.

Как он и я хочу молчать,
Смотрѣть и изнемочь,
Храня торжественно печать,
Твою печать, о Ночь!

И будет много свѣтлых лун
Во мнѣ и вкруг меня,
И блѣдный берег древних дюн
Откроется, маня.

И донесет из темноты
Зеленый океан
Кораллы, жемчуг и цвѣты,
Дары далеких стран.

И вздохи тысячи существ,
Исчезнувших давно,
И темный сон нѣмых веществ,
И звѣздное вино.

... Уйдешь, и буду я внимать,
Послѣдней пѣснѣ лун,
Смотрѣть, как день встает опять
Над гладью блѣдных дюн.

МАРКИЗ де КАРАБАС.

С. Ауслендеру.

———

Весенній лѣс пѣвуч и свѣтел,
Черны и радостны поля,
Сегодня я впервые встрѣтил
За старой ригой журавля.

Смотрю на тающую глыбу,
На отблеск розовых зарниц,
А умный кот мой ловит рыбу
И в сѣть заманивает птиц.

Он знает слѣд хорька и зайца,
Лазейки сквозь камыш к рѣкѣ,
И так вкусны сорочьи яйца,
Им испеченныя в пескѣ.

Когда же роща тьму приkличет,
Туман уронит капли рос
И задремлю я, он мурлычет,
Уткнув мнѣ в руку влажный нос.

— «Мнѣ сладко вам служить; за вас
Я смѣло міру брошу вызов,
Вѣдь вы маркиз де Карабас,
Потомок самых древних рас,
Средь всѣх отличенный маркизов».

«И дичь в лѣсу, и сосны гор,
Богатых золотом и мѣдью,
И нив желтѣющих простор,
И рыба в глубинѣ озер
Принадлежат вам по наслѣдью».

«Зачѣм же спите вы в норѣ,
Всегда причудливый ребенок
Зачѣм не жить вам при дворѣ,
Не ѣсть и пить на серебрѣ
Средь попугаев и болонок?!»

Мой добрый кот, мой кот ученый
Печальный подавляет вздох
И лапкой бѣлой и точенной,
Сердясь, вычесывает блох.

На утро снова я под ивой
(В ея корнях такой уют)
Рукой разсѣянно-лѣнивой
Бросаю камни в дымный пруд.

Как тяжелы они, как мѣтки,
Как по водѣ они скользят!
... И в каждой травкѣ, в каждой вѣткѣ
Я мой встрѣчаю маркизат.

ПУТЕШЕСТВІЕ В КИТАЙ.

С. Судейкину.

Воздух над нами чист и звонок,
В житницу вол отвез зерно,
Отданный повару пал ягненок,
В мѣдных ковшах играет вино.

Что же тоска нам сердце гложет,
Что мы пытаем бытіе?
Лучшая дѣвушка дать не может
Больше того, что есть у нея.

Всѣ мы знавали злое горе,
Бросали всѣ завѣтный рай,
Всѣ мы, товарищи, вѣрим в море,
Можем отплыть в далекій Китай.

Только не думать! Будет счастье
В самом крикливом какаду,
Душу исполнить нам жгучей страстью
Смуглый ребенок в чайном саду.

В розовой пѣнѣ встрѣтим даль мы,
Нас испугает мѣдный лев;
Что нам пригрезится в ночь у пальмы?
Как опьянят нас соки дерев?

Праздником будут тѣ недѣли,
Что проведем на кораблѣ...
Ты ли не опытен в пьяном дѣлѣ,
Вѣчно румяный, мэтр Раблэ?

Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащем,
Ты будешь пугалом дѣв китайских,
Бедра обвив зеленым плющем.

Будь капитаном! Просим! Просим!
Вмѣсто весла вручаем жердь...
Только в Китаѣ мы якорь бросим,
Хот на пути и встрѣтим смерть!

СѢВЕРНЫЙ РАДЖА.

Валентину Кривичу.

1.

Она простерлась, не живая,
Когда замышлен был набѣг,
Ее сковали грусть безъ края
И синій лед и бѣлый снѣг.

Но и задумчивыя ели
В цвѣтах серебряной луны,
Всегда тревожныя, хотѣли
Святой по-новому весны.

И над страной лѣсов и гатей
Сверкнула золотом заря,
То шли безчисленныя рати
Непобѣдимаго царя.
Он жил на сказочных озерах,
Дитя бриллъянтовых раджей,
И радость свѣтлая во взорах,
И губы лотуса свѣжѣй.

Но, сына царскаго, на сѣвер
Его таинственно влечет,
Он хочет в полѣ видѣть клевер,
В сосновых рощах желтый мед.

Гудит земля, оружье блещет,
Трубят военные слоны
И сын полуночи трепещет
Пред сыном солнечной страны.

Се царь! Придите и поймите
Его спасающую сѣть,
В кипучій вихрь его событій
Спѣшите кануть и сгорѣть.

Легко сгорѣть и встать иными,
Ступить на новую межу,
Чтоб встрѣтить в пламени и дымѣ
Владыку сѣвера, Раджу.

2.

Он встал на крайнем берегу,
И было хмуро побережье,
Едва чернѣли на снѣгу
Слѣды глубокіе, медвѣжьи.

Да в отдаленной полыньѣ
Плескались рыжіе тюлени,
Да небо в розовом огнѣ
Бросало ровный свѣт без тѣни.

Он обернулся... там, во мглѣ
Дрожали зябнущіе парсы
И, обезсилѣвъ, на землѣ
Валялись царственные барсы,

А дальше падали слоны,
Дрожа, стонали, как гиганты,
И лился мягкій свѣт луны
На их уборы, их брилльянты.

Но людям, павшим перед ним,
Царь кинул гордое рѣшенье:
«Мы в царствѣ снѣга создадим
Иную Индію... Видѣнье».

«На этот звонкій синій лед
Утесы мрамора не лягут
И лотос здѣсь не зацвѣтет
Под вѣковою сѣнью пагод».

« Но будет бѣлая заря
Пылать слѣпительнѣе вдвое,
Чѣм у бирманскаго царя
Костры из мирры и алоэ.

«Не бойтесь этой наготы
И пѣсен холода и вьюги,
Вы обрѣтете здѣсь цвѣты,
Каких не знали бы на югѣ».

3.

И древле мертвая страна
С ея нетронутою новью,
Как дѣва юная, пьяна
Своей великою любовью,

Из дивной Галліи вотще
К ней приходили кавалеры,
Красуясь в бархатном плащѣ,
Манили к тайнам чуждой вѣры.

И Византіи строгой рѣчь,
Ея задумчивыя книги
Не заковали этих плеч
В свои тяжелыя вериги.

Здѣсь каждый миг была весна
И в каждом взорѣ жило солнце,
Когда смотрѣла тишина
Сквозь закоптѣлое оконце.

И каждый мыслил: «я в бреду,
Я сплю, но радости все тѣ же,
Вот встану в розовом саду
Над бѣлым мрамором прибрежій».

«И та, которую люблю,
Придет застѣнчиво и томно,
Она близка... теперь я сплю
И хорошо у грезы темной».

Живет закон священной лжи
В картинѣ, статуѣ, поэмѣ —
Мечта великаго Раджи,
Благословляемая всѣми.

———



ТОГО ЖЕ АВТОРА.
В ПЕЧАТИ:

Чужое небо

Французскіе пѣсенки

Эмали и Камеи

Колчан

Костер

Шатер

Мик

К синей звѣздѣ

Гондла

Дитя Аллаха

Огненный столп